ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА № 32 АВГУСТ 1987

ОЧЕРК ЮРИЯ ТРИФОНОВА «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО»

САБОНИС: «Я ЕЩЕ ПОИГРАЮ!»



ПОДВОДНИКИ

СВОЕ ПОЛЕ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 32 (3133)

8—15 АВГУСТА

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Семья Калитвиновых. (См. материал «Братья и сестры».)

Фото Павла КРИВЦОВА.

Оформление В. В. ВАНТРУСОВА при участии О. И. КОЗАК

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.

Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Коммунистического воспитания — 250-38-17; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Писем и массовой работы — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформления — 212-15-77; Литературных приложений — 212-22-13.

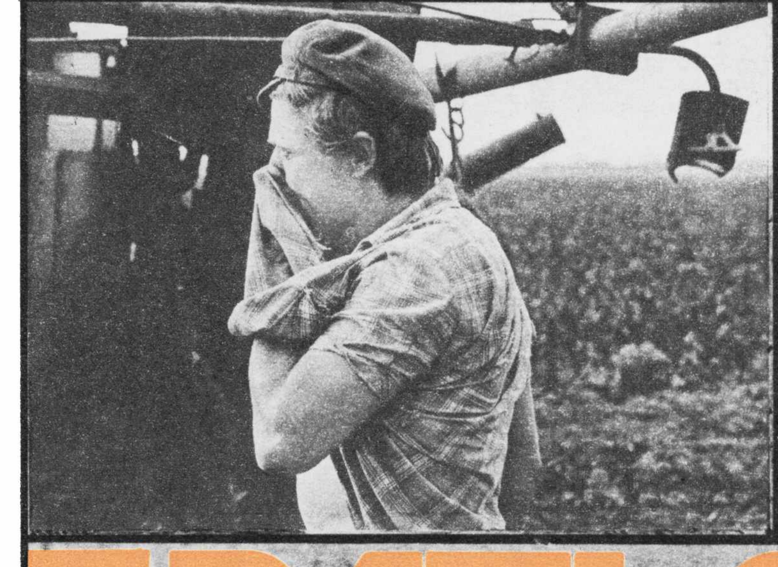
Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 17.07.87. Подписано к печати 04.08.87. А 00408. Формат 70 × 108¹/₈. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 500 000 экз. Изд. № 1800. Заказ № 982.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.





Павел КРИВЦОВ, фото автора

БРАТЬЯ И

СЕСТРЫ



таница Галюгаевская на Ставрополье. Три с половиной тысячи жителей. У колхоза имени Ленина много земли, три тысячи голов крупного рогатого скота, овец сорок пять тысяч...

Вот на этой земле и живут Калитвиновы, семья многолюдная, интересная. Прохор Кириллович и Пелагея Дмитриевна прожили вместе долгие годы, у них девять детей — шесть сыновей, три дочери: Раиса, Борис, Валентин, Надежда, Владимир, Николай, Александр, Любовь и Виктор...

Война разлучила кормильца с семьей, все заботы о доме и первых детях выпали на долю Пелагеи Дмитриевны. Потом вернулся Прохор Кириллович из госпиталя. Легче не было им и после войны, семья росла. Теперь Раиса Прохоровна вспоминает:

— Мне доставалось... Всех перенянчила! Из школы приду, они — ко мне. Мать с утра в поле. Сама работаю в колхозе лет с тринадцати. Сначала ухаживала за ягнятами, потом пошла в полеводческую бригаду, а тридцать лет дояркой. Борис двенадцати лет работал на быках, потом стал скотником, потом кончил курсы трактористов, кстати, вместе с Виктором, самым младшим в семье. Теперь четверо братьев — Борис, Виктор, Александр и Николай — одним звеном работают.

И Надежда Прохоровна более четверти века на ферме. Муж ее там же скотником. У них своих пятеро!



— Калитвиновы,— говорит она,— в беде и радости всегда вместе. Отец умер — такого горя в нашей семье никогда не было, а пережили, потому что все были рядом, вместе. Виктор дом решил построить — все Калитвиновы на стройке! Дом поставили. И детей приучаем к труду. Люда моя с седьмого класса ходила ко мне на ферму, помогала доить. И после десятилетки осталась в станице. Когда был конкурс машинного доения, дочка заняла первое место, а я второе...

Не ошибся председатель колхоза Иван Степанович Лымарь, когда зимой 1985 года предложил Николаю взять семейный подряд на выращивание кукурузы. На зерно. Вы, мол, все механизаторы, вот вам земля, техника, семена, удобрение... Калитвиновы получили двести десять гектаров поливной земли, три трактора, две сеялки, поливальную установку. Получили братья две чековые книжки — приходную и расходную. В первый год были и трудности, и сомнения—справятся ли? Получат ли хороший урожай? Каким год сложится? Пришлось учиться, почаще встречаться с агрономом. Борис и Александр поливали, Виктор обрабатывал междурядья, Николай — всем помощник.

Осенью братья собрали по семьдесят пять центнеров кукурузы с каждого гектара—в полтора раза больше планового урожая. Первый секретарь райкома партии Н. А. Баранник вручил Николаю орден Дружбы народов.

Калитвиновы собрались, чтобы отметить первую удачу. А утром на поле, на свое поле.



С главным редактором газеты «Известия» Иваном Дмитриевичем ЛАПТЕВЫМ беседует специальный корреспондент «Огонька» Леонид ПЛЕШАКОВ.

ОБРАТНАЯ

— Иван Дмитриевич, излишне говорить, что два года, прошедших после апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 года, стали временем особым в работе средств массовой информации. XXVII съезд партии, январский, июньский Пленумы ЦК КПСС этого года дали новый импульс для более широкого освещения различных сторон жизни нашего общества. Гласность, демократичность, доступность для работников печати некогда закрытых тем и сфер, возможность обсуждать наболевшие проблемы, совсем недавно считавшиеся несуществующими или нехарактерными для нашей страны,— все это придало выступлениям средств массовой информации динамизм, злободневность, подняло читательский интерес.

Намного увеличилась в последние годы и почта «Известий»?

— Вероятно, тысяч на 100—150 писем в год. Но количественная сторона не самое главное. Содержание писем стало совсем иным — вот что примечательно. Они стали более деловыми и критичными. Причем часто критика направлена в адрес газеты. И вы, наверное, удивитесь: критикуют нас порой даже за «избыток» гласности.

— Наверное, авторы таких писем — «герои» ваших фельетонов?

— Если бы только так! Если бы люди писали, скажем, исходя из каких-то личных интересов или боясь чего-то, это было бы понятно. Но тут пишут люди незаинтересованные, пишут, искренне убежденные в том, что если недостатки у нас есть, то решать их надо тихим, спокойным путем. Некоторые же считают критические публикации ненужными из-за неверия, что они могут привести к положительным результатам. Как правило, это связано с какими-то личными невзгодами, неприятностями.

— Не могли бы вы процитировать хотя бы выдержки из таких писем?

— Пожалуйста. Вот письмо из Харькова: «...Ну просто надоело читать все о справедливости и перестройке. Ведь это все мираж. Этой справедливости и перестройки век не будет». И дальше приводятся примеры незаконного распределения квартир... Мы это, конечно, проверяем.

Или другое письмо, из Владимира: «Я пришел к выводу, что перестройки не будет, все это очередная кампания, словеса!»

Владимир Ефремов из города Стаханова пишет: «Не верю и не могу поверить в вашу демагогическую болтовню о перестройке до тех пор, пока будет твориться такое, о чем сообщается в ваших статьях. Прочитал о том, как в Астраханской области «переизбрали» предгорисполкома. И таких статей — в каждом номере газет».

— Не знаю, Иван Дмитриевич, согласитесь вы со мной или нет, но во всех этих письмах есть много общего. Авторы вроде бы утверждают, что перестройки нет, а где-то в подтексте звучит сожаление, что она может не получиться.

— Да, это явно просматривается: читатели, даже утверждая, что они перестройку и гласность не ощущают, тем не менее этой гласностью пользуются. Вряд ли можно представить, чтобы еще недавно писали они в газету такие мнения, так формулировали свои сомнения и претензии. Перестройка, гласность дали людям возможность спорить, возражать, предлагать личные варианты решения тех или иных проблем. И пусть это будут слишком горячие, резкие, а то и просто ошибочные мнения — что ж, истиной в последней инстанции никто из нас не обладает. Такие горячие споры как раз и есть общий поиск истины.

— Тут, правда, существует одна тонкость: далеко не все «смельчаки» называют себя и свои адреса. Немало писем подобного рода анонимно.

— Я думаю, это не меняет сути дела. Главное, человек — пусть еще иногда и с оглядкой, пусть с опаской — стал говорить о наболевшем. Я только хотел бы добавить: подобные письма свидетельствуют и о том, что немало людей все еще перестройку воспринимают как кампанию. И это тоже понятно и объяснимо. Ведь мы воспитали, выработали у себя привычку к кампаниям. Эта привычка просто въелась в нас. И когда начинают говорить: ну покритиковали, пошумели, показали — и хватит, сколько же можно,— это как раз есть тот самый кампанейский подход, который породил многие проблемы, выходящие сегодня нам боком. Если допустить — к счастью, это можно только чисто теоретически,—что гласность не станет нормой жизни, не будет состоянием нашей общественной души, мы через некоторое время получим такие проблемы и такие реакции, каких, может быть, раньше и не имели никогда. Худо-бедно, а подавляющее большинство народа уже иной жизни, иной духовной атмосферы не примет. А если ему снова будет навязываться прежняя атмосфера, разве он станет лучше работать, с большим уважением относиться к закону или возрастет его нравственность? Ни в коем случае. Он просто скажет: меня опять обманули, поэтому я знать ничего не хочу. И тогда его интерес к печатному слову и слову с экрана, которым человек сегодня верит, в которых видит в известной мере свою надежду, залог окончательного восстановления социальной справедливости, тогда все рухнет.

— Понятно, Иван Дмитриевич, что гласность в этом отношении на нас налагает большую ответственность. Теперь нам не проходит безнаказанно никакая ошибка. Ведь мы сами тоже не можем оставаться неприкасаемыми. Наверное, вы согласитесь, что гласность для нас, журналистов, не такое уж простое дело?

— Вопрос действительно чрезвычайно серьезен, и для нашей работы, и для нашего партийного и профессионального самочувствия, для журналистской чести и совести. Когда мы допускаем сегодня ту или иную ошибку, мы должны в первую очередь отдать себе отчет в следующем: если мы врем, если мы непрофессионально подаем материал читателю, мы подводим не просто свою газету или свой журнал, где работаем, мы подводим всю советскую прессу. Это раз.

Второе. Своими ошибками мы подрываем новый курс партии, всю политику гласности, потому что политика эта, ее действенность основаны на колоссальнейшей вере людей в то, что с наших полос и с нашего экрана они слышат и читают правду. Если мы врем, мы подрываем эту веру, и такая потеря практически невосполнима. Это должно быть уяснено всеми нами, должно быть нашей болью и постоянной заботой.

Третье. Как всякий человек, журналист не застрахован от ошибок. Как быть? Видимо, только так: наша работа должна стать такой же зоной критики и гласности, как и все другие зоны и как все другие лица, другие учреждения. Такой принцип должен быть единым для всех. Если мы начнем делать из него исключения, недалеко уйдем, ничего серьезного не добьемся. Если допущена ошибка, ее надо исправлять тоже открыто, гласно. Чтобы люди прочли о том обязательно. Да и извиниться за промах будет не грех. А для себя сделать вывод: каждый материал должен иметь трех-пятикратный запас прочности. А то и больше.

Но хочу сказать и другое. Порой мы сталкиваемся с такими случаями, когда признаем ошибку, наказываем корреспондента, а проходит время, и оказывается, что он был прав.

— Например?

— Как-то мы опубликовали острокритический материал из Эстонии. Прокуратура республики предъявила нам серьезные претензии, утверждая, что публикация неточна, что люди, которых мы взяли под защиту, не заслуживают этого, что они нарушили закон и, очевидно, должны предстать перед судом. Мы исследовали документы, которые представила прокуратура, еще раз внимательно изучили все дело. Получалось, что дали маху. Пришлось публиковать опровержение, приносить извинения, налагать взыскание на корреспондента. Прошло время. Следствие было прекращено, преступлений не обнаружилось. Другими словами, корреспондент оказался все-таки прав. Этот пример показывает, насколько бывают сложными вопросы, насколько журналистам надо быть доказательными, но и убежденными. Так что работать сейчас чрезвычайно интересно.

Мне кажется, вообще идея особой взыскательности по отношению к публикуемым материалам в условиях тех тиражей, которые имеют наши газеты, в условиях того авторитета и интереса, который они сейчас приобрели в результате не столько усилий журналистов, не будем забывать об этом, а в результате перемен в нашем обществе,— вот в этих условиях такая взыскательность становится первым обязательным условием работы прессы, ее полезности и неформального уважения к ней. И если газета будет искать, абы «жареным» пахло, абы только вывернуть фактик побольнее и покрепче, то она рискует принести большую беду. Поэтому сейчас, как никогда ранее, нам, журналистам, необходимо умение докопаться, а иногда просто умение почувствовать, чего стоит человек, пусть даже совершивший ошибку. У нас в руках слишком сильное оружие. Им нужно пользоваться умело и справедливо.

— Но есть темы, которых мы просто исторически, неизвестно почему боимся. Вспомним хотя бы материал о первом отряде космонавтов Ярослава Голованова, который был опубликован в «Известиях». Он, я знаю, долго лежал. А, казалось бы, что там особенного? И перестраховывались-то в основном журналисты, руководители конкретных редакций. Когда «Известия» опубликовали, все с восторгом прочли, никаких претензий не было. Вот о чем я хотел спросить: о нашем внутреннем редакторе. Зачастую мы боимся неизвестно чего: а вдруг что-то будет? А что, собственно, будет? Первый отряд космонавтов — это история вообще космонавтики всего мира. Тут насколько веков вперед ни заглядывай, набор Гагарина навсегда останется первым в истории человечества отрядом покорителей космоса. Почему о них нельзя было рассказать?

— Тут, по-моему, сразу несколько вопросов. Попробуем рассмотреть их последовательно.

Во-первых, сам вопрос о гласности и ее понимании. Я глубоко убежден, что гласность — отнюдь не просто сообщение информации и даже не просто выражение той или иной позиции. Гласность есть форма общественного самоуправления и самоконтроля. И задача ее в том, чтобы люди, по словам Ленина, все знали, обо всем могли судить и на все шли сознательно. Поэтому вы должны думать не только о том, какое знание вы тиражируете, но и о том, как оно отзовется в сознании людей и на какое дело их подвигнет. Если вы хоть в какой-то мере сознаете свою ответственность редактора и журналиста, вы неизбежно будете думать не только о том, что вы печатаете, но и о том, чего вы хотите добиться публикацией.

Во-вторых, все мы не свалились с неба. Мы выросли в определенном времени и, естественно, усвоили определенные взгляды, позиции, отношение к жизни, к нашим ценностям. Более того, мы, журналисты, эти взгляды и позиции формировали у других людей, проводили, пропагандировали. Так что все мы несем на себе этот груз. Поэтому вопрос о том, существует ли в нас внутренний редактор или не существует, надо связывать с нашим прошлым. Конечно, внутренний редактор существует у каждого. Но проявляет он себя по-разному. У одних он так силен, что не дает человеку никуда ступить. Это видно и сегодня по некоторым изданиям, журналисты которых отнюдь не спешат воспользоваться обстановкой гласности и внести свою лепту в утверждение нового курса партии. Перелистайте иные газеты — не различишь, когда они вышли: сегодня или пять лет назад. В том и заключается одна из сторон перестройки — в проблеме личностной перестройки, в проблеме внутреннего перелома; через этот рубеж мы должны проходить каждый день, каждый раз, в каждой строке, в каждом материале.

Но есть еще и в-третьих. Недавно «Известия» напечатали маленькую заметку, которая называлась «Архивы станут доступнее». Когда мы ее готовили, я узнал удивительнейшую вещь. Оказывается, многие из тех архивов, которые мы сейчас открываем, никогда не были закрытыми. Это мы их считали таковыми. Считали из-за того, что кто-то просто не хотел выдать ученому тот или иной фонд хранения, может быть, по элементарной лени, может быть, чтобы «от греха подальше». Однако и наш внутренний редактор сказал здесь свое слово. Многие были наперед убеждены: архив наверняка закрыт. Оказалось, что некоторые архивы вообще никогда не были востребованы.

— А они были открытыми?

— Они были открытыми и доступными. Вы понимаете, это как раз и есть тот главный момент, который объясняет сегодня действия внутреннего редактора, когда он старается что-то обойти. Вот мы говорим все: запретные, закрытые темы. Скажите мне, пожалуйста, какие темы являются запретными и закрытыми? Если речь о государственной или военной тайне, то, всем известно, ее надо сохранять. Таков общий принцип, принятый во всем мире: безопасность страны, ее интересы должны быть в этом отношении обеспечены. А еще что?..

Как вы знаете, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев на январском Пленуме ЦК КПСС говорил, что в советском обществе не должно быть зон, закрытых для критики, равно как и лиц, стоящих вне критики, и лиц, не имеющих права критиковать.

Речь идет о том, чтобы, освещая какие-то проб-

СВЯЗЬ ГЛАСНОСТИ

лемы, мы делали это профессионально, на соответствующем уровне, со знанием своей ответственности, чтобы истина не искажалась и тем более не подменялась нашими личными пристрастиями. Запретные сегодня — лукавые и пустые рассуждения, показуха, групповщина, некомпетентность, ложь. Иных не вижу.

— Ну, ладно, обсудили наши внутренние дела, покритиковали себя и своих коллег. Но есть еще, если можно так выразиться, внешний мир, та окружающая нас действительность, которую мы освещаем. Сейчас появилось много материалов, которые раньше не могли бы выйти на полосы, ибо в них задеваются интересы крупных и влиятельных социальных групп общества. Причем тех групп, которые вообще не привыкли к вмешательству в их сферу, потому что правдивая, открытая информация об их деятельности или их бездеятельности ставила бы под сомнение их компетентность, целесообразность решений, соответствие должности и т. д. Естественно, гласность, критичность вызывают ответную реакцию: опровержения, жалобы, апелляции в высшие инстанции. Скажите, много на вас жалуются? Подают ли в суд? Часто требуют опровержений?

— Ситуации, о которых вы говорите, случаются, но они, если можно так выразиться, исторически трансформировались. Когда я пришел работать в «Известия» три года с небольшим назад, было немало проблем именно из-за реакции на выступления газеты. Причем реакции довольно странной: иные руководители считали, что если мы выступили, скажем, против вора и мошенника, обосновавшегося в «Елисеевском», создавшего целую преступную сеть, то, значит, мы выставили Москву в неприглядном свете перед всем советским народом и перед всем миром.

Критика в адрес того или иного министерства, ведомства тоже вызывала частенько подобный отклик или окрик. Начинались звонки. Министры — теперь они практически все уже бывшие министры — начинали с того, что напрочь отвергали выступление газеты. Мол, речь идет о подрыве авторитета страны, мы, мол, выходим на международный рынок, а вы тут пишете, что у нас есть недостатки, и тем самым подрываете наши позиции. В общем, почти что политический промах.

Подобные звонки и давление продолжались и после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС. Потом наши оппоненты поняли: времена изменились, и давление не является лучшим способом борьбы за истину, за дело, за перестройку.

— Есть ли сейчас рецидивы такой реакции на критику газеты?

— Должен сказать: случаются. И теперь, когда мы выступаем по тому или иному острому вопросу, нет-нет да и пахнет старым. Правда, изменилась тактика.

— Каким образом?

— Например, упреждение критического выступления. Такой маневр применялся и ранее, но ныне обновились его формы. Пишут или звонят в редакцию: вы хотите поднять проблему, а мы ее и сами давно знаем, ее решением занимаемся, так что не торопитесь.

Чаще стали применяться коллективные телеграммы и коллективные письма. Корреспондент еще не вернется из командировки, еще пишет материал, еще мы не успеваем сами разобраться с ним, а уже поступают телеграммы и письма с огромным хвостом подписей, в которых можно найти все, что угодно, начиная с опровержений по сути вопроса и кончая обвинениями в адрес нашего корреспондента: и вел он себя неправильно, и не с теми говорил, что вообще его манеры вызывающи, и многое, многое другое. Если даже у него была не застегнута пуговица на рубашке, в таких случаях и это ставится в укор.

Когда начинаем проверять, оказывается, что большинство из подписавших не читали, а то даже и не видели текста телеграммы или письма. Иные вообще не подписывали. Некоторые объясняют, что подписали, думая, что газета этим не займется.

По-моему, поведение последних — самое главное препятствие гласности. Такие люди к ней относятся недостаточно всерьез, все еще воспринимают гласность как простое информирование, а не как процесс выработки своей гражданской позиции, не как свою ответственность за все происходящее.

— Но есть группы, чьи интересы критические публикации затрагивают непосредственно?

— Конечно, перестройка затронула — и еще затронет — интересы многих слоев нашего населения, профессиональных групп, затронула те струны человеческой души, которые раньше никто не слышал и не знал, как они звучат. Затронула устоявшиеся очень давно, можно сказать, незыблемые, окаменевшие представления о том, что кому-то можно, а что ему нельзя. Мы имеем дело с живыми людьми и сами являемся таковыми, и это обстоятельство, повторяюсь, со счетов не сбросишь.

Так что не стоит удивляться, если возникают порой подспудные реакции. Ну, например, полное название нашей газеты — «Известия Советов народных депутатов СССР». Поэтому, стоит нам затронуть работу того или иного партийного органа, партийного комитета (особенно если затрагиваем ощутимо), то, как правило, кто-то пытается поставить вопрос: почему советская газета лезет в партийную работу? Не ее это дело.

— Не ее сусек...

— Не ее сусек... Мне можно, вам нельзя. Аналогичная ситуация, когда затрагиваем какой-то знаменитый в прошлом, большой и уважаемый коллектив...

— Заслуженно знаменитый, заслуженно уважаемый?

— ...Именно заслуженно! Известнейший. И затрагиваем-то действительно существующую наболевшую проблему, предлагаем обсудить ее. Реакция также бывает болезненная. Хотя мы заранее говорим: не нравятся наши выводы — выражайте свое несогласие, высказывайте свою точку зрения.

Кстати, советская печать дает сегодня тому массу примеров. Публикуются разные точки зрения, сталкиваются мнения. История нас научила, как опасно бывает существование одной точки зрения, не допускающей никаких других.

Когда мы говорим о влиятельных группах, об их противодействии гласности, мы должны твердо и четко определиться. На мой взгляд, любая коллизия вокруг проблем гласности является борьбой демократических и бюрократических методов и подходов, борьбой, проявляющейся порой многократно опосредствованным образом.

— Через массу инстанций...

— Через массу инстанций, звеньев, позиций. В свое время один из наших классиков высказался со свойственной ему остротой и образностью: условие существования бюрократии есть тайна. То есть тайна обеспечивает существование бюрократизма. Бюрократ силен тем, что он якобы что-то знает, чего, допустим, не знает человек, который к нему пришел. Что он, бюрократ, якобы чем-то поднят, отличен, к чему-то допущен, отделен от простого смертного. Бюрократ хранит «тайну», напускает на себя, свое дело и должность таинственности и на том — на информации, которая у него есть и которой, очевидно, нет у других,— процветает.

Противовес один — гласность.

— А насколько серьезными бывают попытки оказать давление на газету, используя связи, знакомства и так далее?

— Сегодня у нас такой проблемы практически уже нет. Раньше часто приходилось слышать: позвоню Ивану Ивановичу, обращусь в Президиум Верховного Совета и так далее. Люди, ставшие «героями» нашего выступления, подвергшиеся критике или связанные с ними, писали опровержения, приводя свои звания, регалии, награды, стараясь последними доказать свою правоту. В известной мере такое сохранилось и теперь. А вот ссылки на «верха» уже не проходят. С ними встречаемся все реже и реже. Может быть, потому, что и старых заступников осталось не так уж много.

Я так бы подытожил ответ на ваш вопрос: конечно, критика не сахар, и острое выступление печати мало кому нравится...

— Особенно если оно чревато оргвыводами.

— Нет, не поэтому. Должен сказать, сейчас меньше боятся оргвыводов, чем огласки. Любопытное дело. У нас были материалы о том, как некоторые деятели местного масштаба строили себе особняки, используя служебное положение. Будучи разоблаченными, они соглашались на то, чтобы получить строгий партийный выговор, быть снятыми с работы, но ни за что не хотели, чтобы о факте сообщила газета. Почему? Потому что снятый с работы перейдет через улицу и устроится на соседнее предприятие. Даже в зарплате часто не теряет. Строгий выговор он через год постарается снять. А вот если он попал на страницы всесоюзной газеты, то огласка и суд людской оказываются для него куда страшнее: все твои знакомые, друзья и враги узнают, кто ты есть на самом деле. Поэтому и отбиваются такие от критики, не жалея усилий.

— Иван Дмитриевич, а бывают случаи, когда пытаются опровергнуть что-нибудь из напечатанного в «Известиях» через суд?

— Случается. До сих пор продолжается уже почти двухлетняя история с публикацией газетой одного фельетона. Ситуация тогда возникла любопытнейшая. Наши корреспонденты приехали по делу, которое в свое время было передано в народный суд, и тот уже вынес по нему решение. У журналистов возникли некоторые вопросы, и они обратились к судье за разъяснением. И вдруг судья стал на все помещение кричать: вы пьяны, сейчас мы вызовем милицию и отправим вас в вытрезвитель! Поскольку корреспондентов было трое и ни один из них не был, что называется, грешен, они настояли, чтобы в суд вызвали секретаря райкома партии. Секретарь райкома пришел и прекратил конфликт. Однако, когда позже, разобравшись во всей ситуации, товарищи написали фельетон, то «наш» судья подал на них в суд. Дело неоднократно рассматривалось, иск был признан несостоятельным. Мы об этом сообщили, и наш «герой» снова подал в суд. Короче говоря, попытка опровержения может принимать даже такие формы.

— А если вдруг вы ошиблись, опровержения даете?

— Если мы допускаем ошибки, то, понятно, мы и опровержения публикуем. И наказываем корреспондентов, допустивших неточность, несем моральные потери. Тут вопросов нет, мы такой же объект критики и гласности, как все. Другое дело, что мы стараемся не давать повода для опровержений. Хотя они и возникают первоначально в той или иной сфере на многие критические публикации газеты: «Выступление тенденциозно, односторонне, и мы об этом уже давно забыли». Иногда начинают интересоваться, где мы добыли информацию, каким образом она стала нам известна, кто нам сказал. Такие вещи бывают. Наивно было бы рассчитывать, что их не будет. Наверное, будут еще долго.

Но я бы хотел отметить другое. Одна из коренных сегодняшних проблем гласности состоит в том, что некоторые пытаются использовать гласность как рычаг, как таран для достижения своих целей, сведения личных счетов, для определенного реванша. Сразу оговорюсь: есть немало несправедливых дел, к которым мы возвращаемся и будем еще долго возвращаться — и журналисты, и работники правоохранительных органов,— требуя их пересмотра. Это не подлежит обсуждению. Но я говорю о случаях, когда пытаются вернуться к совершенно очевидным делам, и снять с себя заслуженное наказание, и, наоборот, поставить под удар честных людей. Подобных обращений, к сожалению, много.

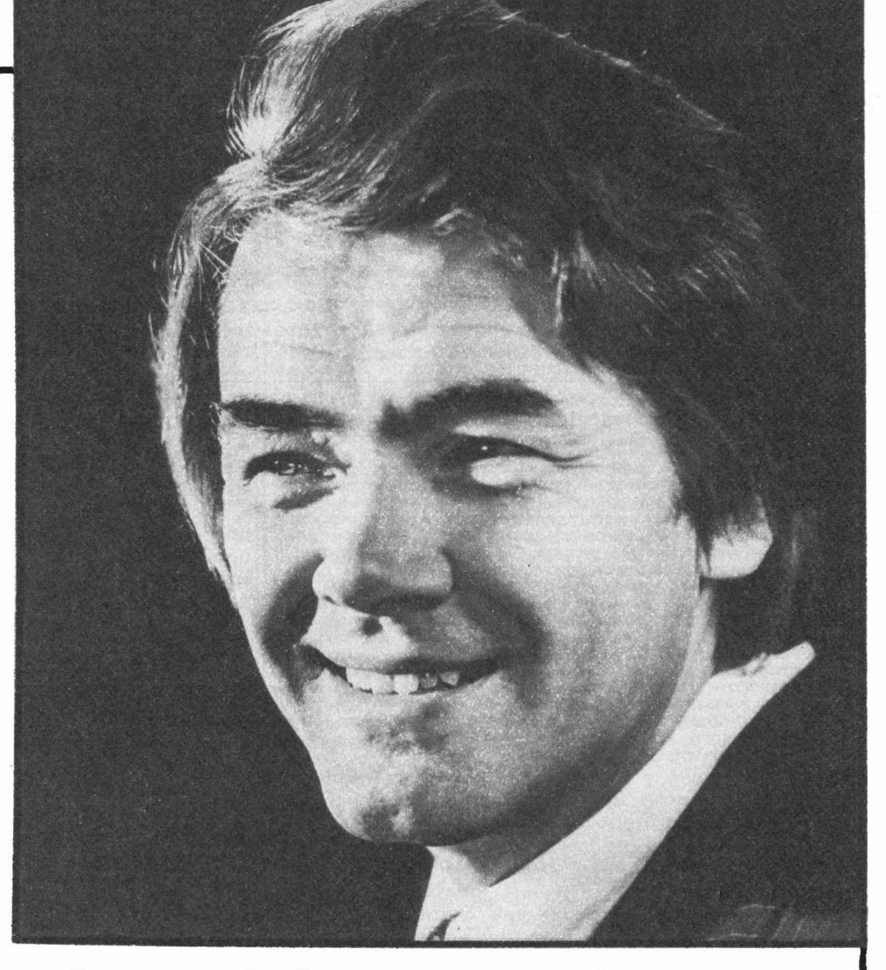
По-моему, это большая проблема. Когда мы говорим об отношении к критике районного, областного или ведомственного руководства,— это полдела. Самое главное дело в том, как воспринимают нашу работу, нашу деятельность, всю политику гласности в целом широкие слои населения. Ибо гласность не рычаг, с помощью которого можно оградить свои интересы, а средство, которое позволит всем нам двинуться вперед, средство утверждения и защиты нашей революционной перестройки.

— Ну и, если можно, последний вопрос: какой вы видите перспективу журналистской работы?

— Здесь можно начинать новую беседу. Коротко я бы ответил так: мы, по-моему, прошли или проходим пик интереса наших соотечественников к такому отражению процесса перестройки, как Слово, пусть самое острое, критическое, смелое. Словом сегодня уже никого не удивишь, все ждут, что за ним последует. Интерес людей все больше и больше сосредоточивается на Деле.

Показать, что делается, какие перемены происходят, что и кто конкретно двигает перемены, что и кто им мешает, как утверждаются на практике — подчеркну особо: на практике! — элементы новых хозяйственных отношений, что изменилось в жизни, в труде людей, то есть отразить реальный ход перестройки,— вот наша перспектива.

Однажды услышав и полюбив необыкновенный голос Юрия Гуляева, ему уже не изменяли. А он продолжал оправдывать эту любовь, на протяжении всей своей жизни удерживая высоту, однажды взятую... Год как ушел из жизни этот замечательный певец, народный артист СССР. Болезнь не дала ему осуществить многое из задуманного. Он не успел завести мотор машины, склонился к рулю, и сердце его остановилось. Девятого августа этого года Юрию Александровичу исполнилось бы только 57 лет. В цветах его могила на Ваганьковском кладбище, а сердце его продолжает звучать в его песнях, сохраненных многочисленными записями. Его талант и сегодня продолжает дарить людям радость. Воспоминаниями о товарище, партнере по сцене делится солистка Большого театра Союза ССР, народная артистка СССР Бэла РУДЕНКО.



Чтобы сердце звучало во весь голос

Бэла **РУДЕНКО**

Помню мое первое знакомство с Юрой в киевском оперном театре имени Шевченко. После окончания дневных репетиций я собралась домой. Проходя по фойе, вдруг услышала изумительной красоты бархатный баритон совершенно необычного тембра. Голос проникал в самое сердце. Неизвестный певец исполнял арию Валентина из оперы Гуно «Фауст».

Кто такой?! Откуда?!

Вместе с другими я бросилась на галерку (в партер нас, молодежь, пускать тогда не полагалось: там заседал художественный совет). Певец уже закончил арию Валентина и начал каватину Фигаро из оперы Россини «Севильский цирюльник». Мы замерли.

На сцене стоял высокий, ладный, красивый молодой человек с обаятельной улыбкой. В его Фигаро было все: искрящаяся задорная молодость, хитрость и милое плутовство, а самое главное — высокопрофессиональное владение необычайной красоты голосом.

Аплодисменты были долгими, восторги бурными, поздравления радостными и искренними. Юрий Александрович Гуляев единогласно был принят в наш театр. На многие годы он стал ему родным домом. Тогда и началась наша дружба.

Естественность и доброжелательность, скромность и взыскательность, необычайная ранимость — основные качества, которые так привлекали к нему друзей. Однако в свой внутренний мир он не пускал никого. Мы чувствовали, что этот мир очень непрост.

Он сразу зарекомендовал себя как настоящий артист, прекрасный партнер, певец, владеющий разнообразием тембровых красок, умеющий соединять вокал и драматическое начало, ярко раскрыть характер своего героя. Он легко вошел в репертуар театра. Граф ди Луна в «Трубадуре» Верди, Эскамильо в опере Бизе «Кармен», Щорс в опере Лятошинского «Полководец», Онегин в «Евгении Онегине» Чайковского, совершенно неожиданно выявившая его комическое дарование партия простого деревенского парня-птицелова — Папагено в опере Моцарта «Волшебная флейта»...

Работал он самозабвенно, не щадил себя. Иногда даже можно было услышать: передохнул бы немного. Говорили это, конечно, из самых добрых побуждений, желая продлить чудо звучания его голоса. Но он не мог иначе.

...Вспоминаю я и наши зарубежные гастроли во Франции, Югославии, Болгарии, где пресса называла его великолепным мастером оперной сцены, подчеркивая, что именно это его истинное призвание.

В 1975 году Юрий Гуляев получил приглашение на работу в Большой театр.

Народный артист СССР Зураб Соткилава писал о нем: «Он пришел в нашу труппу, находясь на гребне огромной популярности, но сразу повел себя так, что никто рядом с ним не чувствовал этого. Его улыбка была обаятельной и застенчивой, казалось, что он стесняется своей популярности, ему неловко в свете ее лучей».

В каждом произведении, в каждой песне и романсе, даже уже широко известных и любимых публикой, Гуляев умел найти что-то свое, иное и неповторимое, и в то же время это было и ваше, доверительно интимное, сказанное, спетое только для вас. Помимо органического слияния певца с музыкой, ему присуще было удивительное ощущение поэтического слова. Нас всегда поражало и восхищало тонкое понимание Юрием Александровичем поэзии Пушкина, Лермонтова в романсах XIX века, Алексея Толстого, Прокофьева, Маяковского, Есенина в современных произведениях Свиридова или Таривердиева. Секрет его притягательности был в трактовке произведения. Именно интимность исполнения открывала ему сердца слушателей. Всегда в его пении жила его широкая, истинно русская, неординарная, мятущаяся и неповторимая натура.

Пел Гуляев много и увлеченно, тщательно и скрупулезно подбирал программы. Вместе со своим талантливым партнером, верным другом и единомышленником пианисткой Р. И. Трохман они создавали вдохновенный дуэт голоса и фортепиано.

Как прекрасно и изысканно звучали в его исполнении романсы наших русских классиков! Неповторимые рахманиновские «Вчера мы встретились», «Я опять одинок!», «Как мне больно», «Отрывок из Мюссе» и многие другие... Я думаю, что исполнение Гуляевым многих романсов долгие годы будет считаться эталонным.

С годами Гуляева все чаще стали привлекать романсы-баллады, романсы-раздумья. Он первым стал петь «Письмо К. С. Станиславскому» Рахманинова. Говорил: «К романсу я отношусь с благоговением. Более того, считаю, что по своему внутреннему содержанию процесс работы над камерным репертуаром интереснее, чем в опере. В камерной программе певец сам себе и сценарист, и режиссер, и исполнитель. В камерном пении, по-моему, сочетается все, чем богат вокал».

Всегда концерты Гуляева заканчивались третьим отделением «на бис», и часто благодарный зал стоя слушал его.

Талант Ю. Гуляева был удивительно демократичен. Наверное, в этом причина того, что песни русские народные и песни советских композиторов занимают в его творчестве особое место.

«Песня—это тоже спектакль, и должен быть отшлифован до тонкости»,— говорил он. Работа над песенным репертуаром — большой творческий труд, не меньший, чем над оперным. Ведь широко известно, что русская народная песня — это душа народа, его жизнь».

Он был истинно народным артистом. Сколько писем, сколько благодарных теплых слов, сколько слов о самом сокровенном поверяли ему люди в своих письмах!

Наверное, чисто русская удивительно песенная широта звучания его голоса, умение создать зримый образ в концертном исполнении, богатство вокальных красок и глубина проникновения сделали народные песни в его исполнении «Степь да степь», «Эх, Ваня!», «Из-за острова на стрежень», «Не велят Маше» шедеврами исполнительского искусства. Музыка, голос, слова сливаются воедино, и вот ты уже вместе с героем все чувствуешь, плачешь, видишь, радуешься.

Мне вспоминается наш совместный концерт с симфоническим оркестром под управлением Степана Турчака в новосибирском Академгородке. Мы уже спели «на бис» весь наш подготовленный с оркестром репертуар, а публика не расходилась и требовала продолжения концерта. Я растерялась, не зная, что делать. Тогда Юра стал перед оркестром и без аккомпанемента «а капелла» запел старинную русскую песню. Зал замер. Несколько минут стояла абсолютная тишина. Но что было потом! Долго не отпуская певца, скандировали «спа-си-бо!».

То, что истинно прекрасно, понятно всем. Поэтому не только в нашей стране, где любят и понимают русскую песню, но и за рубежом исполнение Ю. А. Гуляевым народных песен всегда сопровождалось неизменным успехом. Во время его гастролей по США и Канаде с оркестром народных инструментов имени Осипова публика горячо встречала песни «Вдоль по Питерской», «Дывлюсь я на небо». Когда же после них в огромном зале Кеннеди-центра в Вашингтоне он исполнил еще и каватину Фигаро на итальянском языке, зал устроил ему овацию.

Юра говорил, что в его творческой жизни песня сыграла большую роль. Он всегда стремился найти ту, которой суждена была долгая жизнь: это были и песни военных лет, песни сегодняшнего дня, лирические... «Ведь жизнь складывается из будней, потрясений, нашей радости и боли — все переплетено, и все это входит в мир песни». Он говорил, что в кажущейся простоте песни заложена большая сложность. Как важно суметь привить хороший вкус, а это значит хорошо, со вкусом спеть песню. Это самый демократический жанр, и все любят хорошую песню, в которой живет и мысль, и сердце.

Последние годы Юра стал писать песни сам. Многие из них широко известны и популярны, прозвучали по радио и на «Голубых огоньках». Это и «Желаю вам» на стихи Р. Рождественского, «Дорогая, сядем рядом» на стихи С. Есенина, «Берегите друзей» на стихи Р. Гамзатова, лирические произведения. Написал он их около шестидесяти. Какой прекрасной памятью о нем было бы издание этих песен: ведь в каждой из них живет его светлая душа, его судьба, его жизнь...

Фото Георгия СОЛОВЬЕВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Анатолий ПРИСТАВКИН

С о времени чернобыльских событий прошло чуть более года. Судебный процесс над виновниками аварии на АЭС прозвучал еще одним суровым уроком.

Чернобыль оказался событием всенародным, общей нашей бедой, но и границей между двумя временами. Оно рассекло наше бытие надвое: на время уходящее, полное умолчания, таинственных и скрытных дел, всяческих слухов и т. д., и на время новое, мы называем его эпохой гласности.

Вспомните, как разительно отличались скомканные, растерянные, далекие от истинного положения дел информации первых дней Чернобыля, созданные по образцам прошлой нашей жизни, от последующего: передач, статей, хроник, пресс-конференций, где и прозвучала долгожданная правда, полная горечи и трагизма, о том, что же реально произошло.

В течение немногих, по сути, дней мы вдруг научились по-новому говорить и думать, так, как прежде не умели и даже не догадывались уже, что сумеем.

Конечно, мы еще не научились не верить слухам, да, наверное, не скоро научимся. И не надо громко обвинять киевлян, что они-де такие-сякие, никак не хотят слушать авторитетные заверения свыше об их нынешней безопасности. Многие не верят, а спросите их: почему? Да слишком долго здесь и там врали, скрывали истину, а иной раз по привычке и теперь продолжают это делать. Так что же вы хотите от людей? Вот когда мы научимся говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды, они и то не сразу научатся т о л ь к о ей и верить.

Но мой разговор не о том. Возвращаюсь к памяти о тех трагических днях. Мы все тогда ощутили такое забытое давнее чувство общности каждого из нас со всеми остальными людьми, с народом да и с целым миром.

Все потому, что беда пришла в наш дом.

В каждый дом отдельно. Но и в общий наш дом: в республику, область, город. В страну!

Беда сплачивает, это известно. Но сплачивает лишь та беда, которую я ощущаю как лично свою. Чужая и не пережитая мной никого ни с кем сплотить не может. Чернобыль оказался для меня такой личной бедой.

Один из моих дальних родственников даже строил Чернобыль. А еще мой приятель физик-атомщик там бывал в командировках. Но это нисколько меня не сблизило с происшедшим. А вот день, когда принесли газеты с фотографиями пожарных, погибших от ожогов и облучения, я не забуду. Как и чувство, пережитое, когда я вглядывался в их молодые, прекрасные лица. И вот что меня обожгло, такая странная мысль: а что бы стало со мной, с моей семьей да и с каждым из нас, не положи они в те критические мгновения свои единственные, свои драгоценные жизни в радиоактивный, дьявольский, вырвавшийся на волю пламень?

До каких бы границ продлилась наша общая беда и сколько бы жизней сегодня, и завтра, и далеко вперед она унесла?!

Странно сравнивать с минувшей войной, но вспоминается мне давний трагический сорок первый, когда фашистские танки вышли к Москве и на их пути были брошены курсанты. А танки шли, как на параде, фронта не существовало, и считанные часы отделяли их от границ города. И никого, кроме этих необстрелянных, совсем еще молоденьких ребят. Сейчас мы уже кое-что знаем, почему так произошло. Но они встали на пути всесметающего огня, плохо обученные и плохо вооруженные, как, впрочем, и наши парни пожарные, которые оказались перед смертельным огнем без защитной одежды...

Но и те, и другие выиграли какие-то мгновения и ценой своих жизней спасли нас, и Москву, и страну.

Знали ли ребята пожарные, спасая от огня четвертый блок реактора, что они в тот момент, как на подмосковном шоссе, прикрывают от смерти и столицу, и страну, да и весь мир? Нет, не уверен, что они так вот думали. И это никакого значения не имеет. Главное, что они такими были уже до катастрофы, и так были воспитаны, и так ощущали свой долг, что они в ответственности за все вокруг и за вверенную им атомную станцию.

А теперь главный вопрос: всегда ли нужна катастрофа, подобно чернобыльской, чтобы мы наконец ощутили, что все зависим друг от друга и от личной ответственности за свою «станцию», за свой «четвертый блок». То есть за любое, в общем, дело, которое каждый из нас взял на себя. Невозможно дальше жить, глядя на окружающий мир со стороны и понимая происходящие события не как свои, а как чьи-то, за которые кто-то отвечает.

А где он, тот, кто может за нас и за всех ответить? Да его попросту не существует. Если не отвечаю я и не отвечаешь ты, то, значит, никто уже не отвечает. Вот как получается на деле. И безответственность каждого из нас складывается в нашу общую безответственность. Чернобыль лишь самая высокая точка, видная отовсюду, а сколько других, менее видных, «малых Чернобылей» горят от нашего безразличия к себе самим, от нашей безответственности?

Что же с нами произошло? Почему за многие годы мы выработали общественный и хозяйственный механизм, зачастую основанный на о б щ е й б е з о т в е т с т в е н н о с т и?

Он начинается от мелочей и кончается главным. Попробуйте доискаться и узнать, кто отвечает, скажем, за сорванный рейс автобуса, за отсутствие молока в магазине, за путаницу с расписанием и т. д. Трудно, если не невозможно. А страшней того, что уже и не берутся узнавать; убив время, силы, нервы, все равно услышишь стереотипную фразу: «Это не мы, это до нас... Кто-то, кто теперь уже не тут, а где-то...» И его не найти, ибо он неуловим в силу своей взаимозаменяемости и прикрытости. Развалил — и переведен. А новый, который вместо него, он, ясно, за того, кто развалил, отвечать не хочет. Но когда и он развалит, его прикроет третий... И несть им числа! Так система безответственности и заменяемости порождает в руководителях уверенность, что в свое время и с него будет снята вина, как он снял ее с другого.

И так сверху донизу. В одном случае мы говорим о временах «культа», в другом — о методах «волюнтаризма в руководстве», в третьем речь заходит о годах «неподвижности и застоя». Слава богу, если назовут имя, наскоро и как бы стеснительно, а то и просто упомянут безымянно и как бы отвлеченно. А ведь недостатки и промахи, а то и трагедии (которые почище чернобыльских) были-то вполне конкретные. И творили их конкретные люди, и расхлебывал вполне конкретный наш народ.

Один москвич, бывший работник МИДа (по-видимому, на пенсии) пишет в ответ на мою повесть «Ночевала тучка золотая», что его не удовлетворяет мой ответ «Кто виноват?»: «Не питаю никаких симпатий к этим пенсионерам, но они всего лишь выполняли приказ и выше этого уровня подняться не в состоянии. Боюсь, большинство из нас действовало точно так же. Искать виноватых только среди исполнителей — самое легкое дело: исполнителей наказывают, приходят новые исполнители. Вы прекрасно знаете, что во всем виновата сталинская система...»

Ну, конечно, он прав, прежде всего система отношений, сложившаяся под руководством И. В. Сталина и осужденная XX съездом КПСС. Неправда лишь в том, что «большинство из нас действовало так же». Кто действовал, а кто-то и не мог, и сопротивлялся, и становился неминуемой жертвой именно потому, что не хотел быть как «большинство». Удобно спрятаться за системой, но ведь существует и личная ответственность! Перед обществом, перед друзьями и товарищами и, наконец, перед детьми! Перед совестью своей, ее-то никто не отменял во все времена и при всех системах. И пока эти критерии приглушены или вовсе отсутствуют, мы не гарантированы от того, что не повторим ошибок прошлого. Любая система, в том числе и сталинская, опиралась на верных исполнителей и ими была страшна. За спину системы хорошо кому-то спрятаться. Но ведь существуют и прямые исполнители, которые лично отвечают за свои дела...

За многие годы безответственности мы выработали даже новый, почти биологический тип человека, необязательно руководящего, а вообще человека, которого можно бы назвать «гомо безынициативный». Есть и другие варианты: «гомо лежачий», «гомо равнодушный» и т. д.

Формула безразличия, равнодушия: «Ломать не делать, душа не болит». Впрочем, подозреваю, что ее как раз придумали неравнодушные по отношению к равнодушным. Ответственность же начинается именно с боли, с чувства вины, причем личной вины за происходящее вокруг. Даже за то, что «наломали» другие. И ничего мы с вами не перестроим, и ничего не ускорим, пока у нас, как и от беды в Чернобыле, «не заболит», не запечет под сердцем. И чем больше мы узнаем, открывая для себя всяких непорядков, тем острей эта боль, тем сильней должно быть желание что-то сделать, как-то изменить к лучшему.

Засекреченность, анонимность в бывшие времена не только отстраняла нас от информации, но и снимала с нас вину за происходящее. Как можно отвечать за то, чего я не знаю! И многих это вполне устраивало.

Вот печатают в газетах письма, в некоторых раздаются возгласы, не такие уж малочисленные, что пора бы изображениям наших недостатков остановиться, прекратить свои дозволенные речи.

Не верьте этим голосам. Если они и болеют, то лишь за себя. Легче жить, закрыв глаза, и не ведать, что же с нами происходило. Ведь наша гордость индустриализацией лишь усиливает негативное отношение к беззаконию.

Хочется-то пожить поудобнее, поблагодушнее, как говорят, без напряга. Мы даже учились для своего удобства ничего не видеть вокруг и оправдываться перед собою же. Тем более что сверху нам постоянно подбрасывали про «временные трудности», которые мы скоро, даже очень скоро «переживем и преодолеем», а нынешнее поколение (которое по счету?) будет — ни больше ни меньше — жить уже при коммунизме. Вот уже и легче. Совсем то есть легко. И не больно, главное. Некто эти временные трудности допустил, и другой некто их поправит. А не поправит, так придет третий и поправит второго да и всех предыдущих. Нам лишь посмотреть, как это произойдет. А потом объявят, так мы готовы... Мы единодушно, так сказать, проголосуем и станем ждать того самого обещанного прихода... И не надо на нас «вешать» того, что мы не сделали. Мы-то люди маленькие, винтики, так сказать! Ваша система, ваши недостатки, ваши недогляды нас никак не касаются.

Так мы жили, так рассуждали. Страшно это. Но, по-моему, страшней другое — что многие пока что готовы и дальше так жить. Оттого и письма про «негатив», хотя еще не окно, а лишь форточку гласности мы приоткрыли...

Вот собратья по перу, у которых и боль, и вина, и чувство несправедливости должны быть стократ обостреннее. Но иные из них изощренно запугивают себя и того же обывателя такими, например, выражениями, как: «сердитая литература», «репрессивная критика», «репрессивная публичная дискредитация», «угроза новой культурной диктатуры», «демонстрация литературной требухи и изнанки», «отрицающая культура» и тому подобное.

Все это с последних пленумов писателей.

Я не был на недавнем пленуме правления Союза писателей СССР, меня туда не пригласили. Но туда многих

не пригласили, я не в обиде. На расстоянии в общем-то вся картина даже видней. Читал я выступления и диву давался: за всю свою беспризорную жизнь не слышал я столько бранных слов от взрослых людей, сколько собрать по перу за два или три рабочих дня вылили на голову друг друга.

Для того ли им даден великий, могучий и т. д. русский язык, чтобы сводить счеты с высокой трибуны? Пишите лучше, это и будет ваш ответ всем вашим врагам...

Ну, скажите, достойно ли бросать в адрес друг друга подобное: «трусы», «дезертиры», «маловеры», «некрофилы», «враги»... Особенно последнее такое родное словцо, так и вспоминается, да в сочетании с другим, как, например, «враги народа»... Но и без него достаточно, когда в адрес противника звучит: «раскачивать корабль»! Или даже как приговор: «прицел на зарубеж»! Непонятно, конечно, кто там и чем прицеливается, бежать ли надумал или только издаваться решил? Но неопределенность-то даже страшней! Главное — напугать, заставить поверить, что поднявшаяся из небытия и будто бы похороненная высокая литература Твардовского, Ахматовой, Платонова, Гроссмана вовсе не нужна. Это про нее ведь бытовало в издательствах: «Обложечку похуже, тиражок поменьше и... на периферию!»

Не о том ли и сейчас речь, когда предлагают (извините за чужой термин) «некрофильскую» литературу вынести за пределы сегодняшних журналов и отослать (в который раз!) ее в дальние многолетние издательские плутания. Авось там она сама концы отдаст. Дело-то опробованное, причем не на ушедших, а и на живых авторах! А если и пробиваются опять на писательском пленуме или в иных недавних публикациях слова, пахнущие нафталинчиком, «оттуда», из тех самых времен, когда они очень даже для доносов годились! А ныне-то гласность, так мы и публично можем донести! Те, кто вдруг закричал о групповщине, в основном и наваливаются группой на остальных: умеют, привыкли.

Тон дискуссий почти всегда связан с их аргументацией, здесь нельзя разделять, надо помнить, за что споры и против чего. Стремясь к сплочению, к пониманию нашей общности, надо останавливать мастеров погромных фраз. Я уж устал их выписывать: «честолюбцы», «якобинцы», «цивилизованные варвары», «лжедемократы», «бесталанные новоиспеченные гении», «темные люди», «бездарности» и прочая, и прочая. Привыкнув к оглобельным аргументам, отработав их на многих — в том числе на Твардовском, чьим именем любят клясться,— мастера упомянутых терминов не привыкли получать сдачи, начинают искать защиты в демагогии собственной и чужой.

Один из выступающих, например, набросав своим коллегам всяческих обвинений в «снобистском цинизме», «демагогии», «фальшиво-якобинском брюзжании» и даже в «слабоумии», закончил свою речь так: «Давайте будем внимательней, бережливей, уважительней... друг к другу...»

Ну право, как герой болгарского сатирика Радой Ралина, который обращался так к своему ближнему: «Человек человеку друг, товарищ и брат, слышишь ты, скотина?»

А ведь именно от писателей люди ждут слов, исполненных тревоги и ответственности за все, что происходило и происходит сейчас в стране. Ждут конкретной помощи, а не запальчивых слов и не борьбы за привычные привилегии, многотомники, награды и тому подобное. Чего стоят треволнения о прошлых заслугах, лауреатских значках, если вся ваша тревога замкнулась на них, а люди живут вне ваших книг и вашей боли?!

Нет, будет неправда, если я не скажу, что лучшие из писателей приходят в мир со своими серьезными проблемами. Одна из них, может быть, впервые так открыто поднятая,— национальная, проблема сохранения национальной культуры советских народов, их истории, преподавания в школе языка и т. д. Жизнь показывает, что не сегодня и не вчера возникли и обострились эти проблемы. Но, слава богу, наконец мы можем открыто о них поговорить.

Другая проблема, уже очень давняя. Мы много пишем о сохранении природы, об экологическом кризисе, но дела-то в этой области улучшились ненамного. И если даже невероятными усилиями наших ведущих писателей мы возбуждаем всенародный интерес к проблемам Байкала, Арала, северных рек, то означает ли это спасение и всей остальной природы, ее многих, больших и малых рек, где нет своих ведущих писателей, которые бы их защитили?

В начале этого года мне довелось присутствовать на семинаре очеркистов в Ислочи под Минском. Съехавшиеся молодые очеркисты с болью повествовали о том, что же происходит у них на родине, то есть на Дальнем Востоке, в Закарпатье, в Средней Азии и т. д. Когда три десятка очеркистов подряд рисуют картины одна страшней другой, которые объединяются в общую глобальную картину разрушения природы, начинаешь понимать, что нужны какие-то общие меры, отдельные, частные попытки при всей их нужности спасти нас не смогут. Нужна общая обстановка нетерпимости в любой точке, где могут угрожать природе. Законом, даже самым строгим, нам не обойтись. Запрет вовсе не гарантия безопасности, если отсутствуют у людей сдерживающие нравственные преграды. И даже наоборот, закон может притупить общественное зрение, создать иллюзию своевременно наступившей помощи, усыпить нас.

Это касается не только окружающей среды, но и всего остального: запчастей на заводе, кирпича или цемента на стройке и т. д. Можно построить самые высокие заборы, усилить охрану, ужесточить и выпустить десяток новых законов, но пока люди, все мы не поймем, что мы берем не чужое, а свое, крадем у себя, а значит, сами должны отвечать за сохранение всего нашего социалистического богатства, мы не будем ни богаты, ни жить в достатке.

Перестройка — трудная вещь, но она наступила вовсе не потому, что кто-то ее так сильно захотел. Без нее дальше оказалось невозможно жить. Мы во всей нашей жизни и в нашей морали подошли к тому рубежу, за которым пропасть, катастрофа. И Чернобыль доказал нам, как призрачно наше бытие и как до поры неощутимо, но смертельно опасна может быть безответственность. Нужна ли нам еще одна катастрофа, для того чтобы наконец понять, что во многих точках бытия, в том числе экологической, и экономической, и общественной, подступил «радиоактивный» распад, грозящий нам катастрофой? И если мы до конца этого не поймем и не осознаем своей ответственности, беда может стать непоправимой. Об уроках Чернобыля забывать не имеем права.

ПАЛИТРА

МУЗЕЙ ПРАДО, ВЕК МИНУВШИЙ


оссия и Испания. Два государства, находящиеся на противоположных концах Европы, две страны, имеющие собственные пути развития и свое историческое лицо, два народа, разнящиеся характером и темпераментом...

Перенестись в атмосферу Испании прошлого века, живо ощутить дыхание этой сложной и противоречивой эпохи мы получили возможность на экспонировавшейся весной этого года в Москве и Ленинграде выставке «Испанская живопись XIX века. От Гойи до Пикассо». Советские знатоки и любители искусства хорошо знакомы с испанским искусством по великолепным полотнам и графическим листам, хранящимся в Государственном Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, других советских собраниях. Картины великих художников Испании прошедших веков — Веласкеса, Эль Греко, Мурильо, Сурбарана — из коллекций крупнейших музеев мира неоднократно экспонировались у нас в составе многочисленных зарубежных выставок. Но испанская живопись XIX века, за исключением произведений Ф. Гойи и П. Пикассо, мало представлена в собраниях наших музеев, почти не освещена в трудах советских искусствоведов. Однако следует отметить, что русские художники достаточно хорошо знали и высоко ценили искусство испанских живописцев того периода. Александр Бенуа в своей книге вспоминает: «...Еще в конце XIX века у испанской живописи была репутация чего-то необычно блестящего, и я помню, как, например, Репин без меры расхваливал жгучесть их колорита и трепетность их техники». Особым почитанием среди российских художников пользовалось имя Мариано Фортуни, оригинальный талант которого вызывал массу заимствований и подражаний. «Все русские художники бредили Фортуни, говорили о нем как о предельном достижении в живописном мастерстве»,— отмечал Бенуа. И. Е. Репин со свойственной ему восторженностью писал В. В. Стасову: «Фортуни... конечно, гениальный живописец нашего века, и после него уже никакая живопись не удовлетворяет». За М. Врубелем, по его собственному признанию, утвердилось даже прозвище «Фортуни».

Мариано Фортуни, который еще при жизни достиг самой широкой известности, был яркой фигурой испанского искусства второй половины XIX века, оказавшей сильное влияние на своих современников. Он создавал произведения, построенные на заостренной характеристике ситуации, красочной звучности, ввел в обиход искусства жанр «ретроспективной» картины, изображающей быт Испании XVIII века.

Со многими именами художников, произведения которых экспонировались на проходящей выставке, советские зрители познакомились впервые. И тем значительнее была эта встреча, позволившая получить эстетическое наслаждение от колоритной и глубокой испанской живописи прошлого столетия, прочесть еще одну выразительную страницу в летописи развития мирового искусства.

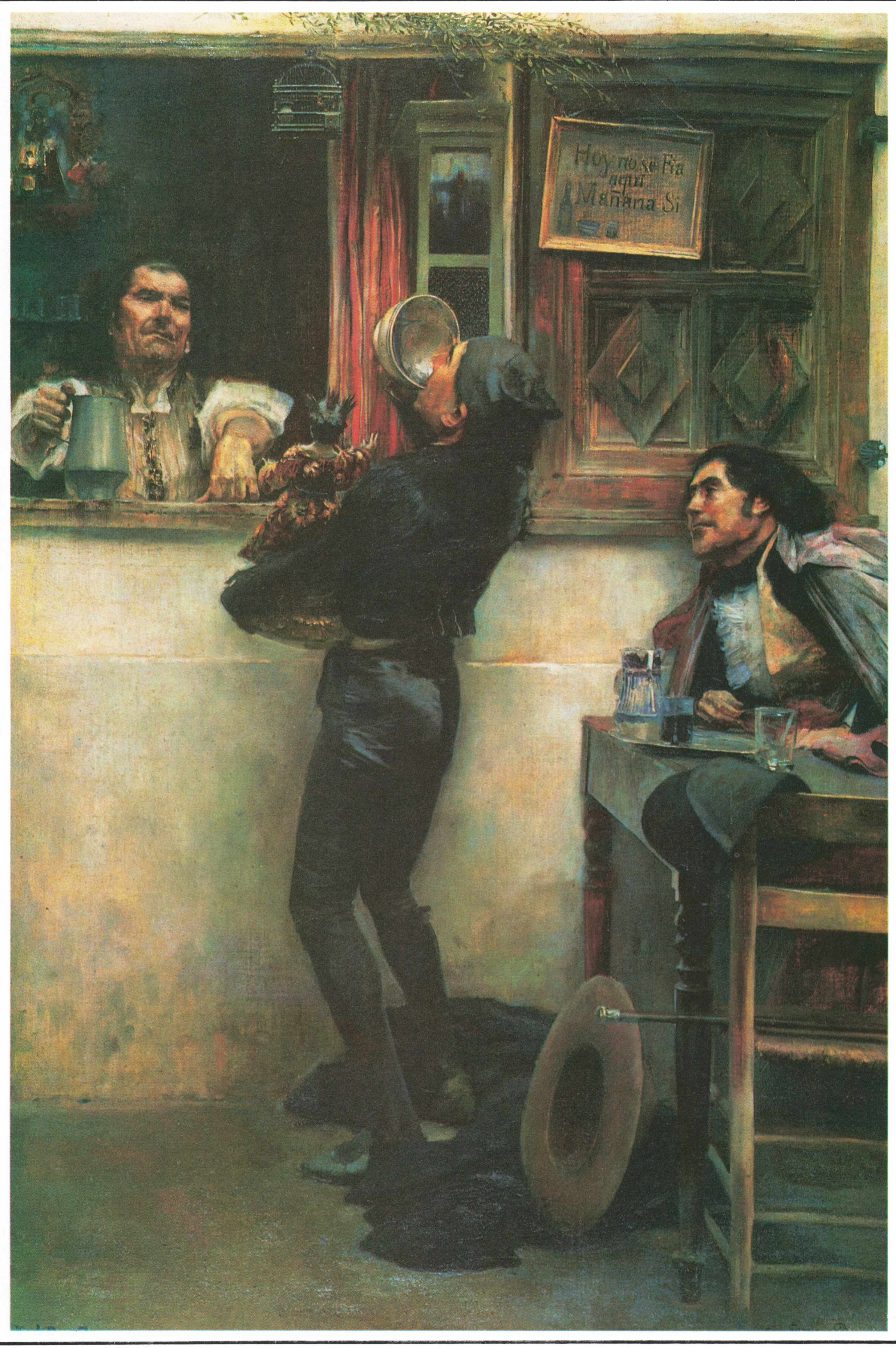
Традиции европейского классицизма находят отражение в творчестве Хосе де Мадрасо, Рафаэля Техео, Антонио Мария Эсквивель. Романтизм в сочетании с классическими принципами и традициями испанской живописи прошлых веков характерен для творчества Федерико де Мадрасо. Чрезвычайно органичным самобытной народной жизни, духу старины стал в Испании неоромантизм, выразившийся в чисто испанском течении «костумбризма» (перевод с испанского — нравы, обычаи). Живописцы-костумбристы Мануэль Родригес Гусман, Валериано Домингес Беккер стремились создать яркий образ «Испании бубнов» в полном соответствии с тем стереотипом восприятия культуры страны, который сложился в начале столетия. Бесценен вклад в развитие испанской живописи художников, оставшихся верными заветам Гойи, таких, как Леонардо Аленса и Эухенио Лукас. 90-е годы XIX века проходят в основном под знаком импрессионизма, который, трансформируясь в творчестве испанских художников Хоакина Сорольи, Аурелиано де Белуэте, Сантьяго Рисиньоля, получает своеобразную национальную интерпретацию. На выставке экспонировалась картина четырнадцатилетнего Пабло Пикассо «Два старика», которая является одним из первых шагов в долгом творческом пути великого мастера XX века...

Одновременно Министерство культуры СССР направило в Испанию выставку «Шедевры русской живописи XVIII—XIX веков из собрания Государственного Русского музея». В ее состав вошли лучшие произведения выдающихся художников России В. Боровиковского, О. Кипренского, А. Венецианова, А. Иванова, П. Федотова, И. Репина, И. Левитана, Н. Ге, В. Серова... Испанский зритель смог в залах музея Прадо по достоинству оценить богатство русского искусства.

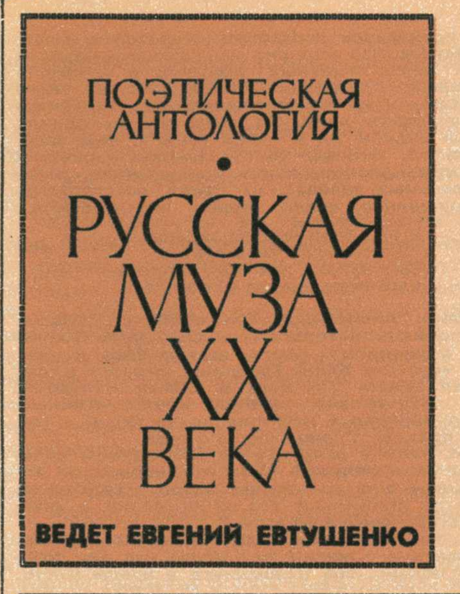
Никита ВАСИЛЬЕВ



ЭДУАРДО РОСАЛЕС.
1836—1873.
ЧОЧАРА.



ХОСЕ ГРАСИА РАМОС. 1852—1912.
АСТА ВЕРТЕ, КРИСТО МИО. (ВЫПЬЕМ, ПОВОРОТИМ, В ДОНЫШКО ПОКОЛОТИМ.)



НИКОЛАЙ ОЛЕЙНИКОВ
1898—1942

Несмотря на близость его к литературной группе «Обэриуты», я все-таки считаю его наследником по прямой линии Саши Черного. Особенным блеском отличаются его пародии на любовные признания, сделанные в полном соответствии с хорошо изученными канонами мещанской галантности. Часто печатался в детском журнале «Еж» под псевдонимом Макар Свирепый. Я считаю его прямым предтечей Николая Глазкова, поднявшимся до более высоких обобщений в своих лучших стихах. В 1937 году был незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ ПАЙЩИК

Когда ему выдали сахар и мыло,
Он стал домогаться селедок с крупой.
Типичная пошлость царила
В его голове небольшой.

СУПРУГЕ НАЧАЛЬНИКА
(на рождение девочки)

На хорошенький букетик
Ваша девочка похожа.
Зашнурована в пакетик
Ее маленькая кожа.

В этой крохотной канашке
С восхищеньем замечаю
Благородные замашки
Ее папы-негодяя.

Негодяя в лучшем смысле,
Негодяя в смысле — гений,
Потому что много мысли
Он вложил в одно из самых
Лучших своих произведений.



АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ
1889—1957

У Александра Вертинского особая судьба. Знаменитый певец, выступавший когда-то еще в петроградских кабаре, он после долгих скитаний за рубежом нашел в себе мужество вернуться на Родину и стал широко признанным артистом эстрады и кино, был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. В стихах Вертинского ощутимы влияния Блока, Анненского, Северянина. Однако нельзя не признать в поэте собственную истинную поэтическую искру.

В СТЕПИ МОЛДАВАНСКОЙ

Тихо тянутся сонные дроги
И, вздыхая, ползут под откос...
И печально глядит на дороги
У колодцев распятый Христос...

Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!

Как все эти картины мне близки,
Сколько вижу знакомых я черт!
И две ласточки, как гимназистки,
Провожают меня на концерт.

Что за ветер в степи молдаванской!
Как поет под ногами земля!
И легко мне с душою цыганской
Кочевать, никого не любя!

Звону дальнему тихо я внемлю
У Днестра на зеленом лугу.
И российскую горькую землю
Узнаю я на том берегу.

А когда засыпают березы
И поля затихают ко сну...
О, как сладко, как больно
сквозь слезы
Хоть взглянуть на родную страну...



АЛЕКСАНДР КУСИКОВ
(псевдоним Кусикяна)
1893—1977

Всю жизнь был где-то между футуристами и имажинистами, оставаясь далеким и от первых, и от вторых. Христианство в его поэзии причудливо переплетено с исламом. Как и Хлебников, он остался одиноким дервишем поэзии, однако, далеко не дотягивая до Хлебникова в силе слова, Кусиков не имитировал никого, кроме самого себя, и посему останется как представитель редкого жанра — самоимитаторства.

ЛЕС НАГОРНЫЙ

Так ничего не делая, как много
делал я,
Качая мысли на ресницах сосен,
Я все познаю, вечность затая,
И яблоко земли проткну я
новой осью.

Нагорный лес причудливых видений,
Тропинки тайн неперечтенных строк.—
Здесь я выслеживал незримого оленя
Моих проглоченных тревог.

О, сколько слов в шуршащем
пересвисте
Роняет с крыл совиный перелет,
Когда заря кладет в ладони листьев
Копейки красные своих щедрот.

Туман свисает бородой пророка...
Я, полным сердцем вечер затая,
Поймал звезду, упавшую с востока.—
Так ничего не делая, как много
делал я.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
1882—1945



Один из крупнейших русских прозаиков XX века, начинавший как поэт. Стихи Толстого были явно слабее его прозы, и он правильно сделал, что вовремя сменил жанр. Но поэзия для Толстого оказалась великой школой языка. Не случайно в своих стихах он варьировал народные наговоры, причитания, заклинания, набирая силу для самоцветного роскошества русского языка, которое так заблистало на страницах «Петра Первого». Отдельные фразы Толстого-прозаика вонзаются в память так же цепко, как поэтические строфы. Одесские писатели, его современники, фразу ставили выше сюжета. Толстой был сильнее их в том, что, не теряя качества фразы, он был и мастером сюжета. У одесских писателей фраза запоминалась сама по себе. У Толстого запоминался персонаж при помощи фразы. При таком огромном литературном таланте когда-нибудь он, быть может, и доучился бы до неплохого поэта, но все не осуществленное им в поэзии он вложил в прозу. Может быть, именно потому, что он не стал поэтом, Толстой был так болезненно ревностен к другим поэтам и изобразил Блока в образе Бессонова с явным привкусом иронической пародии.

БЕДА

Помоги нам, Пресветлая Троица!
Вся Москва-река трупами кроется...
За стенами, у места у лобнаго,
Залегло годуновское логово.
Бирюки от безлюдья и голода
Завывают у Белого города;
Опускаются тучи к Московию,
Проливаются серой да кровию;
Засеваются нивы под хлябями
Черепами, суставами рабьими;
Загудело по селам и по степи
От железной, невидимой поступи;
Расступилось нагорье Печерское;
Породились зародыши мерзкие...
И бежала в леса буераками
От сохи черносошная земщина...
И поднялась на небе, от Кракова,
Огнехвостая, мертвая женщина.
Кто от смертного смрада сокроется?
Помоги нам, Пресветлая Троица.

СУД

Как лежу я, молодец, под Сарынь горою,
А ногами резвыми у Усы реки...
Придавили груди мне крышкой гробовою,
Заковали рученьки в медные замки.

Каждой темной полночью приползают змеи,
Припадают к векам мне и сосут до дня...
А и землю-матушку я просить не смею —
Отогнать змеенышей и принять меня.

Лишь тогда, как исстари, от Москвы Престольной
До степного Яика грянет мой асак —
Поднимусь я, старчище, вольный, иль невольный
И пойду по водам я — матерой козак.

Две змеи заклятые к векам присосутся,
И за мной потянутся черной полосой...
По горам, над реками города займутся,
И година лютая будет мне сестрой.

Пронесутся знаменья красными столпами;
По земле протянется огневая вервь;
И придут Алаписы с песьими главами;
И в полях младенчики поползут, как червь;

Задымятся кровию все леса и реки;
На проклятых торжищах сотворится блуд...
Мне тогда змееныши приподнимут веки...
И узнают Разина. И настанет суд.

Можно ли рассказать о жизни?

Обо всем трагическом, непоправимом, прекрасном, веселом и печальном, что было в ней? Главное он хранил для книг, но в очерке о городе, «...который так любил, так помнил, так знал, так старался понять», скрывал за юмором и историческими справками боль утрат и печаль по безвозвратно ушедшему (ведь писалось для географического журнала, для любознательного читателя, желающего кое-что узнать о далекой стране), и потому юмор иногда неуклюж... Так вот, в очерке о Бульварном кольце Москвы рассказана жизнь человека, родившегося в 1925-м и умершего в 1981-м. Юрий Трифонов жил в Москве, писал книги. Почти все, что он написал, связано с его городом. Есть даже цикл, названный критиками «московским». В него входят повести «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной».

В троллейбусе, идущем из центра в Замоскворечье, иногда слышишь: «Вы у Дома на набережной выходите?»

Фильм, созданный в Азербайджане на совершенно иной, чужой литературной основе, называется «Другая жизнь».

Одна женщина из ГДР, рассказывая о муках расставания с мужем-алкоголиком, мешая русские и немецкие слова, все старалась объяснить точнее, как это было, потом махнула рукой и сказала: «Ну, что я так длинно! Как писал Ваш муж — «самое страшное — это долгое прощание».

Все это означает разное, и я не имею в виду намекнуть на тотальную популярность. Да и не лелеял Юрий Трифонов мечты о таковой, он писал, что если, прочитав его книгу, кто-то передумает совершать с умирающей матерью обмен, а мальчик начнет заботиться о немощных стариках, значит, не напрасно переводил бумагу.

Это не было лукавой скромностью, уничижением паче гордости, он знал себе цену, но он помнил и о тех заоблачных вершинах литературы, имя которым Толстой, Достоевский, Чехов.

Он учился у них самому необходимому и самому трудному в писательском ремесле — писать правду. Он был глубоко убежден, что горчайшее это лекарство помогает человеку стать выше, лучше, помогает подняться над собой, над обстоятельствами, преодолев и чугунную тяжесть повседневности, и роковое давление «свинцового времени».

У Некрасова есть строки:

На всех, рожденных в двадцать пятом
Году и около того,
Отяготел тяжелый фатум:
Не выйти нам из-под него...

Да, и в нашем столетии, тем, «рожденным в двадцать пятом году и около того», выпала тяжелая доля — свинцовые времена, война, безотцовщина. Но это поколение преодолело фатум, потому что... Это очень большой и серьезный разговор, скажу лишь одно: своей главной книгой Юрий Трифонов считал документальную повесть «Отблеск костра». Он назвал ее «повестью об отце и о времени, когда мы начинались». «Мы» — вот ключевое слово. В этом «МЫ» и свершившие революцию отцы, и всё поколение автора, и поколение будущее. В этом «МЫ» — связь времен, вера в наш сегодняшний день, который готовил и Юрий Трифонов своими книгами. Готовил даже в глухие времена, не щадя себя, не поддаваясь соблазнам почестей и высоких заработков, изо всех сил не обращая внимания на ярлык певца пыльных чердаков и коммуналок, который старательно нацепляли на него рьяные критики и «доброжелательные» товарищи по писательскому цеху. Он знал, что не одинок ни в своей судьбе, ни в своей вере. С ним было его поколение, и среди них — сыновья наркомов, кулаков, командармов, попов, что воевали, работали на военных заводах, на полях, восстанавливали разрушенное, сеяли, писали книги, стихи...

И за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командарма иль попа...

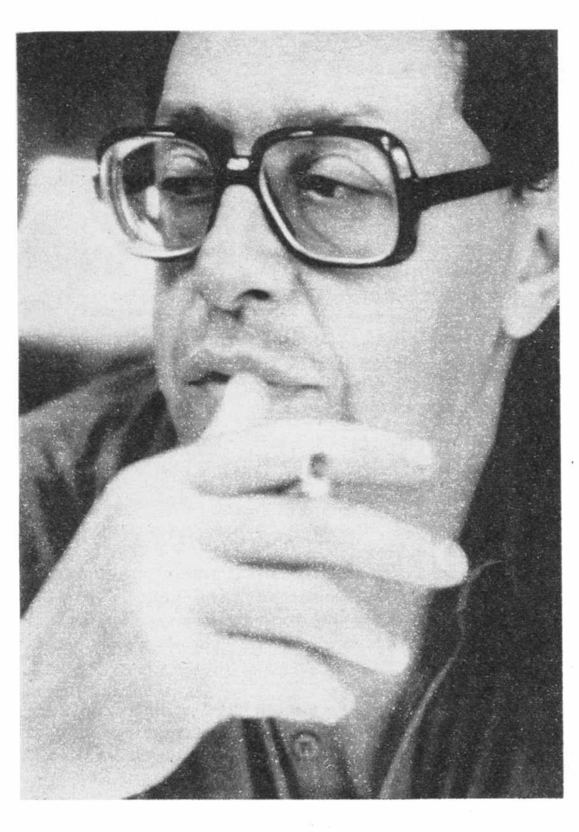
Это строки Александра Трифоновича Твардовского, вспоминая которого, все безмерное уважение свое к великому поэту, всю любовь к уникальному человеку Юрий Трифонов выразил в том, что считал самым трудным и самым необходимым — он не унизил кумира хрестоматийным глянцем, а написал о нем так же честно и с той же мерой правды, с какой писал о себе.

Впрочем, теперь речь идет о Бульварном кольце, скажет нетерпеливый читатель, вернее, не совсем кольце,— оно, как пишет автор, разомкнуто, но многие не принимают это во внимание, а иные даже не догадываются об этом.

Но ведь, рассказывая о Бульварном кольце, можно рассказать и о жизни, тем более что она тоже не совсем кольцо, она разомкнута в одном месте.

Ольга ТРИФОНОВА-МИРОШНИЧЕНКО

БУЛЬВАР



Юрий ТРИФОНОВ

Рассказать о Бульварном Кольце? Это значит рассказать о своей жизни, которая обвязана, обвеяна этим Кольцом вся. Никуда из него не вырвешься. Ты начал с него, увидел мир на его бульварах и постоянно к нему возвращаешься. Нет другой улицы на земле, которая была бы столь извечно твоя. Странная власть Кольца! Ты находишься в какой-то мистической зависимости от него: вот ты уехал от него на Калужскую, потом еще дальше на Сокол, а потом еще бог знает куда, но Кольцо не отпускает тебя. И весь город тоже принадлежит Кольцу, и как бы он ни раскидывался, ни улетал в заоблачные дали, Кольцо схватило его круглой могучей лапой — такой маленькой в необозримости города!— и держит намертво.

Бульварное Кольцо — обруч, скрепляющий эту огромную бочку, гребень в пучке исполинских волос, нескончаемо текущих, без него распадется клепка, рассыпятся волосы. Без него нечем дышать, ибо Кольцо — легкие. Усталые от вековой работы, в них слышатся хрипы, они нуждаются в лечении, в особом питании, тысячи автомобилей убивают их газовой атакой, и все же они работают, сопротивляются, поглощают, снабжают. И город дышит Кольцом. Не весь, он слишком велик,— его сердцевина, то, что называлось когда-то Белым городом.

Впрочем, почему же Кольцо? Ведь цепь бульваров, окружающая старую Москву с севера, имеет форму не кольца, а полукольца. Западными и восточными звеньями она упирается в реку, и за рекой продолжения у нее нет. Но все говорят: «Кольцо» — и привыкли. Когда-то я прочитал роман А. Дюма «Три мушкетера» и удивился — почему три, когда четыре? Но потом привык, как все в мире привыкли. Хотя на самом деле четыре, все говорят: три. Хотя на самом деле полукольцо, все говорят: Кольцо. Я знаю москвичей, которые прожили здесь целую жизнь и не догадываются — им и в голову не приходит,— что правильно говорить Бульварное Полукольцо.

Как у всех старых городов, у Москвы в пору ее рождения был один могущественный импульс — страх. Крепости, башни, валы, рвы. Оградить, спастись, защититься от зверя, от врага, от напастей... Так вот, если взглянуть на старые города — и на Москву — сверху, можно увидеть рисунок страха. Это скелет того малого, что через несколько веков превратилось в гиганта. Сначала — жиденький частокол маленькой крепости на берегу речушки, князь был ничтожен и беден, кого бояться в лесу? Потом — деревянные стены, деревянные башни, получившие название «Кремль». Князь превращался в царя, становился богаче, страх возрастал. А затем, когда государство стало сильным и знаменитым, деревянные стены неминуемо должны были превратиться в нечто грозное, прочное, каменное, выражавшее одновременно величайшее опасение и величайшую мощь. Царь Василий I решил оградить от набегов литовцев город земляным валом со рвом — и это как раз то полукружье, где располагается Бульварное Кольцо. Ров впервые упоминается в летописи в 1389 году. И уже тогда были на валу ворота: Чертольские (впоследствии их стали называть Пречистенскими, а в советское время Кропоткинскими), Арбатские, Никитские, Тверские, Дмитриевские, Петровские и Сретенские. Давно уже ворот не существует, но москвичи до сих пор называют небольшие площади между бульварами «воротами». «Никитские ворота», «Сретенские ворота», «Петровские ворота» — и это такой же миф, как три мушкетера и как Кольцо...

В западной части земляной вал начинался от реки Москвы, от нынешних Кропоткинских ворот (в этом месте в Москву впадал ручей Черторый, его воды заполняли ров, впоследствии ручей был засыпан и стал Кольцом), а восточная часть рва доходила до речки Яузы, притока Москвы, эта часть была сооружена позднее. В XVIII веке указом Петра I улицы Москвы мостились булыжником. В 1775 году по плану переустройства Москвы на месте земляного вала и рва хотели устроить по западному образцу бульвары, но московская знать, богатые купцы воспротивились и захватили большую часть освободившегося пространства под свои дворы. Бульвары удалось создать только в начале XIX века. Так что Кольцу ни много ни мало — лет сто шестьдесят.

С чего же начать? Где найти точку отсчета в полукольце Кольца? Да, наверное, там, где я впервые его увидел: на Тверском бульваре. Я ведь сказал, что с Кольцом связана жизнь. Это не пустые слова. Вблизи Суворовского бульвара — раньше он был Никитским — до сего дня существует родильный дом, где началась вся эта долгая суета. Затем в течение пяти лет я жил в большом доме посередке Тверского, на третьем этаже, окнами на бульвар — там было много снега, собак, повязанных платками бабок, стариков с мешками, милиционеров, китайцев, продающих розовые бумажные игрушки, в стороне чернел, как башня, громадный человек по имени Тимирязев, а в другой стороне, очень далеко, стоял такой же черный Пушкин, к нему можно подойти, еще лучше подъехать на санках и увидеть, что он грустный. Нянька Таня, собираясь со мной гулять, спрашивает у мамы: «Куда иттить: к энтому Пушкину или к энтому Пушкину?» Между бульваром и домом громыхает трамвай. Дребезжание трамвая — первое, что долетает до меня из сырого, снежного мира. Я боюсь трамвая. Все говорят, что он страшный. Иногда меня ставят на подоконник, я смотрю вниз и вижу: трамвай несется, как сумасшедший, над его крышей сверкают ослепительные ужасные искры...

Все тут с чем-то и как-то связано. Ну вот, например, трамвай — ведь это тот самый, который отрезал голову булгаковскому Берлиозу. Здесь, рядом с памятником Тимирязеву, Аннушка пролила на рельсы роковое масло, на котором бедный Берлиоз поскользнулся. Трамвая давно нет на Кольце. Теперь здесь ходит троллейбус.*

А грустный, поникший в задумчивости Пушкин. В 1880 году, на открытии памятника, Достоевский произнес знаменитую речь: «Смирись, гордый человек!» Это был отчаянный призыв к русскому народу, к молодежи, сила и страсть кото-

* Эпизод романа «Мастер и Маргарита», о котором упоминает Ю. Трифонов, случился неподалеку от Бульварного кольца на Патриарших прудах. (Ред.)

НОЕ КОЛЬЦО

рого должны были заставить молодых людей опомниться и выбросить навсегда револьверы и бомбы. Но молодые люди не опомнились. Через год бомбою народовольцев был убит Александр II. Памятник Пушкину, как и булгаковский трамвай, нынче не существует на прежнем месте — его передвинули в сквер на Пушкинскую площадь.

Старых москвичей эта передвижка не обрадовала. Вроде бы какая разница: справа или слева от дороги стоит чугунный памятник с чугунными фонарями в цепях? И там вокруг памятника стояли скамейки, на которых солнечными днями тесно, плечом к плечу, как на сидячем параде, дремали пенсионеры, а вечером маялись в томительном ожидании влюбленные, и здесь, на новом месте, то же самое, круг скамеек, пенсионеры, влюбленные, но что-то нарушилось. Да, да, непоправимо нарушилось. Настолько непоправимо и беспощадно, что нам обидно до слез. Нам — старым москвичам. Которые помнят прежнее место. Которые сидели на прежних скамейках. Которые слышали от родителей забавный стишок дореволюционных лет: «Жду тебя, мой друг Карлуша, на Твербуле у Пампуша!» То есть на Тверском бульваре у памятника Пушкину.

Нам кажется: Тверской бульвар без памятника Пушкину стал голым и безголовым, но москвичи, родившиеся в сороковые годы и позже, этого не считают. Им представляется, что не может быть для памятника ничего лучше, чем открытая со всех сторон взору площадка на Пушкинском сквере. Здесь и скамеек больше, и стоят они уединеннее, а на старом месте был какой-то тесненький пятачок — так думают молодые современники. И мы никогда не поймем друг друга.

О да, перемены! Сносятся кое-какие дома, заменяются решетки, давно убраны вертящиеся турникеты, которые были обязаны напоминать рассеянным москвичам о существовании грозных трамваев, но какая-то вечная суть, атмосфера, характер старого города остались на бульварах Кольца неизменно. Это то, что сохранилось от глубинного духа Москвы.

Тверской бульвар и во времена Пушкина был местом прогулок, тут была знаменитая «Арабская» кондитерская, приезжали искать знакомств одинокие дамы, московские старухи «салопницы» сползались сюда за новостями, тут встречались накоротке, за столами летней чайной, мелкие газетчики, безработные актеры, проигравшиеся за ночь карточные игроки, тут происходили жестокие сражения красногвардейцев с юнкерами в семнадцатом году, убитые лежали на газоне под липами, раненые—на скамейках, артиллерия красногвардейцев с Пушкинской площади обстреливала дом князя Гагарина на другом конце бульвара, напротив площади, где стоит сейчас памятник Тимирязеву, и сожгла этот дом, в плен попали триста юнкеров, бой за центр Москвы был тут выигран, а в сорок первом памятник Тимирязеву был разбит взрывом бомбы, распался на куски, но его собрали и поставили на прежнее место, во время войны посреди бульвара лежал серебристый аэростат, а потом тут устраивались книжные базары, вновь гуляли одинокие дамы, школьники ели мороженое, появились собачки на поводках, и опять, как сто лет назад, кучками стали собираться незадачливые литераторы, непризнанные драматурги без гроша в кармане, игроки в шахматы, в шашки и, конечно, в вечного русского «козла», то есть в домино.

Место тут — Тверской бульвар — удобное, центровое, во все концы близко—театры вокруг, редакции газет и журналов рядом, а издательство «Советский писатель» в двух минутах ходьбы, поэтому в теплые дни здесь назначают рандеву, сводят счеты, встречаются, чтобы попросить в долг, иногда возвращают долги, обмениваются гениальными мыслями, советуются, как быть, все те, кому, чтобы заработать, надо бегать, шнырять, искать, про кого русская поговорка говорит: «волка ноги кормят»— внештатные газетчики, эстрадники, куплетисты, авторы пьес и киносценариев, которых режиссеры не хотят ставить. Они говорят о своих делах.

У них много замыслов и прекрасных новых идей. Из этих разговоров, из бульварного «трепа» — в любую погоду на скамейке Тверского бульвара дежурил какой-нибудь энтузиаст из незадачливых авторов—возникла организация: Профессиональный союз драматургов. Туда входят те, кто пишет по мелочам и изредка кое-где печатается, но до Союза писателей еще не дотянулся. Впрочем, члены Профкома драматургов не унывают: у них есть свое помещение, они проводят там собрания, смотрят фильмы, платят членские взносы и распределяют путевки в дома отдыха.

Другие хозяева бульвара — шахматисты. В теплые вечера каждая скамейка облеплена зрителями, как сладкий кусок пирога бывает облеплен мухами — молчаливые наблюдатели. Игроков двое, они сидят на скамейке друг против друга, невидимые в толпе. Протиснуться ближе и посмотреть на доску бывает трудно. Забавно ходить теплыми вечерами по бульвару: с обеих сторон расположились молчаливые кучки мужчин, стариков, мальчишек. Свежий человек, не знающий дела, увидев эти кучки, ничего не поймет и подумает, что люди то ли молятся, то ли исполняют тайный обряд. А иностранец, придя в гостиницу, запишет: «Странный обычай русских: стоять тесным кружком, плечом к плечу, опустив головы, и разговаривать так тихо, что проходящий в трех шагах человек ничего не услышит. Вероятно, члены каких-то подпольных организаций. Каждый кружок стоит отдельно, по-видимому, по фракциям. Милиционеров не видно. Все это свидетельствует о том, что ситуация в России меняется».

А мы попробуем все-таки пробраться через толпу к скамейке и посмотреть, какова ситуация на доске. Противники: толстый, лысоватый человек в куртке домашнего типа, подозрительно напоминающей теплую больничную пижаму, и мальчик лет двенадцати, тонкая шейка, белобрысый затылок. Человек в пижаме мрачно насуплен, мальчик тихонько посвистывает. Голоса из толпы: «Сдавайся, батя!», «Черным капут!», «А почему вы так думаете?». Человек в пижаме раздраженно вскидывается: «Граждане, вы прекратите этот митинг?» Мальчик посвистывает. Он житель соседнего дома, там он — какой-нибудь Васька, Толька, им помыкают, на него покрикивают, он выносит помойные ведра, бегает за кефиром, а здесь, на бульваре, он маленький царь, его называют Василием, Анатолием, его знакомством дорожат, с ним стремятся сразиться. Но, проигравши, так хочется дать щелчка по этой белобрысой макушке!

Еще достопримечательность Тверского бульвара — между площадью и театром, бывшим известным Камерным режиссера Таирова, расположен в глубине сада за старинной оградой барский дом, построенный лет двести назад. В начале прошлого века дом принадлежал сенатору Яковлеву, в 1812 году в этом доме родился писатель Александр Герцен. Многие десятилетия после революции дом этот назывался «Дом Герцена». Тут находились в двадцатые годы литературные организации, ресторан «Стойло Пегаса», где кутили Есенин и Маяковский, в этом доме и в окружающих его флигелях жили в те годы писатели Мандельштам, Алексей Толстой, Платонов и другие, ставшие впоследствии знаменитыми. Булгаков увековечил «Дом Герцена» в романе «Мастер и Маргарита» — здесь, в помещении литературного союза «МАССОЛИТ», происходит пожар, по воле волшебника Воланда. И именно здесь в 1934 году был открыт Литературный институт, где я учился пять лет: с сорок четвертого по сорок девятый.

Как видите: никуда не вырваться из Кольца!

Литературный институт был основан Горьким и носит имя Горького. Это уникальное учебное заведение, другого такого нет, пожалуй, нигде в мире — институт, который готовит писателей. Сразу напрашивается: Лев Толстой не учился в Литинституте! И Маяковский тоже! И вообще никто из великих не учился специально «на писателя». Сам Горький доказал своим опытом, что лучший университет для писателя — жизнь среди простых людей. И, однако, как это ни удивительно, как ни противоречит логике, Литературный институт оказался полезен. Из его стен вышли многие современные советские писатели: Евтушенко, Ахмадулина, Казаков, Айтматов, Симонов, Тендряков. Но дело не в этом. Они все равно стали бы писателями. Дело вот в чем: институт помогает тем, кому можно помочь. А те, кому помочь нельзя, становятся редакторами, переводчиками, сотрудниками газет... Иные же, разочаровавшись в себе и в целом мире, уходят из литературы навсегда и остаются читателями. Учение в Литинституте — дело рискованное. Можно повредить себя на всю жизнь. Тут происходит жестокое соревнование и жюри беспощадно — писательский стипл-чейз со всеми его барьерами, ловушками начинается гораздо раньше, чем мог бы начинаться. То есть вся писательская система взаимоотношений создается в кругу несуществующих писателей. Я посещал семинары прозы Паустовского и Федина. Обычные университетские дисциплины: история, языковедение, философия, иностранные языки не интересовали меня вовсе, зато многочасовая болтовня, крики, споры на семинарах — о, это были звездные часы моей жизни!

После шума и криков выходили на бульвар в сырую дождли-весеннюю или морозную свежесть и брели, измученные, к «Бару номер четыре», где пили пиво и ели раков, а если не было пятерки на кружку пива — брели просто так, мечтая, рассуждая о книгах и девушках и мучаясь от собственной немоты. Все начинающие мучаются от немоты. Старый дом, где помещался наш излюбленный «Бар номер четыре»— украшение Кольца!— несколько лет назад снесен. На его месте разбили сквер и поставили громадные часы с таким чудовищно сложным циферблатом, что время по ним узнать нельзя.

Пойдем дальше на восток — Пушкинская площадь замыкается громадным кинотеатром «Россия», а за ним, в узеньком Путниковском переулке, в тени, в неприметности прячется редакция самого шумного за последние полвека российского журнала — «Нового мира».

Лет десять, пятнадцать назад, когда редактором был могучий Твардовский, отсюда гремели на всю страну громы и молнии! Неловко повторяться, но автор опять тут как тут: окончил институт, получил диплом и мог бы отъехать куда-нибудь подальше от любимого Кольца — необязательно в другой город, но хотя бы в другой район Москвы. Но нет, автор движется по той же параллели — свой первый роман несет в «Новый мир», и Твардовский его печатает.

Так, автор, не отрываясь от Кольца, становится писателем. Разумеется, не становится, это происходит позднее. Но тогда, в баснословном пятидесятом, автору так казалось.

На Пушкинской площади помещается и редакция второй по значению советской газеты — «Известия». В витринах здания «Известий», построенного в стиле конструктивизма в конце двадцатых годов, выставлены фотографии: мощные гидростанции, литейные цеха, нефтяники в касках, прокладка рельсов в тайге и тому подобные увлекательные сюжеты, каждую неделю другие. Возле фотографий неизменно стоят два, три человека и задумчиво их рассматривают. Это люди, которые есть во всех городах мира,— они слоняются без особой цели, чего-то ищут, кого-то ждут, размышляют, мечтают. Больше всего любят читать объявления: тайный зов перемены судьбы. Доска

объявлений помещается как раз рядом с витриною фотографий. Но что же там можно прочесть? Продают торшеры, меняют квартиры, шьют молодежные брюки, дают уроки английского, французского, испанского, набирают слушателей в кружок «гармонического развития личности». В скобках — ритмика, пластика, беседы об искусстве. Пахнуло двадцатыми, а то и десятыми годами. В Москве есть все, что хотите, надо лишь внимательно читать. Ищу партнершу для тенниса, лет 20—25. Преподаю йогу. Занятия по парапсихологии. Общество любителей ирландских терьеров сообщает, что очередное собрание...

Когда надоест читать объявления и рассматривать нефтяников в касках, можно перейти в сквер и на другой стороне Пушкинской площади зайти в крохотное кафе «Лакомка». Толстяки жуют пирожные, меланхолически глядя в окно. Школьницы щебечут о своих взрослых делах... Недалеко от «Лакомки», если подниматься по Пушкинской вверх, находится ценнейшее и редкое для Москвы учреждение — о его местонахождении мечтают узнать провинциалы — старинная общественная уборная, хорошо сохранившаяся.

Бегущие в «Новый мир» или убегающие оттуда переволновавшиеся авторы непременно забегают в этот уютный, отделанный кафелем подвальчик. Мы говорим, разумеется, о начинающих. Опытные мастера слова используют туалет редакции.

Но дальше, дальше на восток! Мы задержались на Пушкинской...

Страстной бульвар, самый короткий в цепи бульваров. Всегда останавливает взгляд красота дома на углу Петровки. Дом князей Гагариных... Архитектор: знаменитый Казаков, XVIII век. Здесь проходил описанный Толстым в «Войне и мире» обед в честь князя Багратиона и прозвучала наглая фраза: «Надо лелеять мужей хорошеньких женщин». Затем — дуэль Пьера...

В этом же доме останавливался служивший в наполеоновской армии Стендаль. Именно здесь великий писатель ничего не понял о России.

За домом клиники—старейший московский городской сад «Эрмитаж». Когда-то модное увеселительное заведение, где любили бывать Чехов Куприн, пировали купцы, пели цыгане, выступали гастролеры из Парижа, Вены, ныне — жалкий маленький садик, пыльный и скучный летом, закрытый зимой. Старомодный ресторанчик, где наспех обедают командировочные, деревянный тир — отрада детей и отпускных солдат. Москва гуляет в других местах — в огромных парках, в Лужниках, во дворцах и спортзалах, где мощные динамики окатывают многотысячных зрителей громоподобным весельем. Но это далеко от Кольца...

Кольцо — одно из самых тихих мест Москвы. Старина еще не выветрилась из этих особнячков, доходных домов прошлого века, помещичьих городских усадеб с палисадником и флигелями, а кое-где из ржаво-белого кирпича монастырских стен...

Справа, если подниматься по Рождественскому бульвару, краснеет ржавым, древним кирпичом стена бывшего Рождественского женского монастыря, построенного в конце XIV века, а чуть выше, но слева от бульвара, Сретенских ворот — запомните, никаких ворот нет,— сохранился Сретенский мужской монастырь.

Возле Сретенских ворот есть старый Печатников переулок, названный так потому, что тут когда-то была Печатная слобода — жили типографы царского Печатного двора. С этим переулком у автора тоже связано множество воспоминаний, ибо тут жил его друг, в квартире которого происходили студенческие сборища, здесь автор впервые мертвецки напился, впервые целовался с девушкой так, что у него распухли губы, здесь обсуждались головокружительные новости пятидесятых годов.

Отсюда автор и два его друга в марте 1953 года вышли на Рождественский бульвар и смотрели, как вниз, к Трубной площади, движется гигантская медленная толпа людей, желавших посмотреть на почившего: Сталин лежал в Доме союзов. Автор с ужасом наблюдал эту плотно спаянную, не имевшую ни конца, ни начала толпу, сползавшую вниз, как ледник. Были слышны крики задавленных, истерические вопли «Спасите!». В тот день на кольце погибли сотни людей.

Ах, можно долго рассказывать о кольце!

Я его так люблю. И прекрасно, что оно еще существует.

1979 г.



Фото Михаила САВИНА

Жизнь наверху,

Игорь ФЕЙН



С кем этого спортсмена можно сравнить? Пожалуй, только с Борзовым, Харламовым, Третьяком, Сальниковым, Бубкой... Все. Однако кажется, что Сабонис даже среди них, великих из великих, выделяется.

Он говорит, что мирно сосуществует с популярностью. Лукавит, ох, лукавит Арвидас! О каком мирном сосуществовании может идти речь, если обыкновенный обед превращается в проблему? Что там Каунас, Вильнюс, любой другой город Литвы — в Москве, где к любым звездам привычны, Арвидасу трудно перекусить в кафе или ресторане: узнают тут же (правда, немудрено не узнать). Подходят, задают вопросы, просят автографы...

Недели не проходит, чтобы к нему не приехали телевизионщики, киношники, фоторепортеры, корреспонденты. И все спрашивают одно и то же. Поневоле начнешь прятаться от журналистов. К тому же у Сабониса к нашему брату свой счет...

Сколько же глупостей, сплетен, небылиц распространяют о нем! Особенно зарубежные журналисты. Этим он давать интервью зарекся. Еще бы! Один югослав написал (уверяя, что со слов Арвидаса, хотя ни одному югославскому журналисту Сабонис никогда интервью не давал), что Сабонис ничем в жизни не интересуется, что его, кроме баскетбола, привлекают только водка и женщины... Американка из ЮПИ задала вроде бы невинный вопрос: «Что вы больше любите — тепло или холод?» Арвидас ответил, ничего не подозревая: тепло люблю. А она из этого вывела, что раз в Прибалтике, в Литве, погода с капризами, то своим ответом Сабонис недвусмысленно заявил о желании уехать в Калифорнию, в Штаты и играть за профессиональный клуб... Как после такого не бояться журналистов?

И ведь наши, в том числе литовские, иногда выступают не лучше. Слишком часто выдают собственные мысли за его, приписывают ему слова, которых он не говорил, приводят факты из биографии, коих никогда не было...

Так что же представляет собой сегодня этот знаменитый Арвидас Сабонис?

С домашними он такой же, каким и был всегда. Вежливый, добрый, чуткий, помощник во всем. Разницы между тем, каким Арвидас был в детстве, ранней юности, и каким стал, когда пришла всемирная популярность, родители не видят. Больше того, даже характер не изменился. Такой же доверчивый, широкий, душевный, скромный; никто не может сказать, что нос задрал. По-прежнему не ждет ни от кого гадости, по-прежнему не верит, что кто-то может сделать ему плохо. И хотя бывало уже такое — не меняется, не ожесточается, не закрывается.

Самая большая радость в доме — Арвидас приезжает. Новый год — семейный праздник. Раньше, правда, весь вечер, всю ночь он с ними: с отцом, с мамой, сестрой Илоной, братишкой Андрюсом. Теперь же заезжает на несколько часов, а потом — к ребятам. Не задержишь. Да и не надо: большой уже, самостоятельный, другие интересы...

Я думал, только с посторонними он такой — молчаливый, замкнутый, отстраненный. Нет, и дома словоохотливостью не отличается. Андрюкас умоляет: ну, расскажи, расскажи, как там было (о какой-нибудь поездке). А он — односложно. Или: вы спрашивайте — я отвечу. Его растормошить надо — тогда может подолгу рассказывать.

Родители Арвидаса уверены, что сын сможет играть до тридцати. И даже дольше. Если будет беречь себя. Если станет серьезнее. И в этом они, безусловно, правы. Пока же Сабонис себя транжирит, торопится жить, спешит вкусить все радости жизни. Осуждать его за это трудно: когда еще жить, если не сейчас, пока молод, красив, всеми любим, когда вся жизнь представляется сплошным праздником. Тренировки, какими бы тяжкими они ни были, пока для него тоже праздник. И ему кажется, что сил еще вагон, что резервов — масса. И маленькое нарушение режима — не страшно, не в счет, легко компенсируется ответственной работой...

Отнюдь не собираюсь делать из Арвидаса святошу. И не надо создавать вокруг него ореол непогрешимости. Всякое бывает в жизни спортсмена...

Да, это плохо. Это обязательно скажется. Об этом ему твердят многие, я в том числе.

Главное, чтобы он понял — всему свое время. Нужно сдерживать себя, умерить свои желания, осознать, что важно, а что преходяще. Ему повезло, что он родился таким. Так тем более нужно беречь такой талант.

Пока же он тратит себя неразумно. И в игре (тут уже надо спросить с тренеров «Жальгириса»), и в жизни.

С ним надо быть построже. Но кто, кроме тренера сборной СССР А. Я. Гомельского, имеет на него влияние? Не видел такого. Мама, конечно. Да ведь мама не может постоянно быть с ним. Так что пора ему становиться не мальчиком, но мужем. Иначе — неизбежно — его игра потускнеет. Как моментами тускнела она в сезонах 83—87-го годов, когда были матчи, в которых он начисто проигрывал центровым соперников.

Тогда его игра напоминала синусоиду. То равных нет, то проигрывает рядовому. А в 87-м он вообще уступал в большинстве поединков. И на критику взрывался: я с травмой, меня «маленькие» не замечают, судьи «душат»...

Мне показалось, что Хомичюс однажды специально для него пересказывал мне содержание интервью, которое дал «Гадзетте делла спорт» центровой «Трайсер Филлипс» Джо Маккаду. Говорил громко, чтобы слышал Сабонис, но с деланным возмущением. Видимо, это был очередной педагогический ход капитана «Жальгириса». И достаточно дипломатичный: дескать, он не согласен с утверждениями американца.

Маккаду же заявил в интервью, что Сабонис его совершенно разочаровал: «Я ехал в Европу и только и слышал: Сабонис, Сабонис, Сабонис... Я ожидал увидеть какого-то уникального баскетболиста, более сильного, чем те, с кем я играл. А увидел мальчишку, не желающего бороться, просто уклоняющегося от борьбы, лодыря и нытика, слабого и физически, и психологически. Я почти на 15 лет старше его. Дома я не выдержал бы против такого противника и десяти минут. А здесь мы в первом тайме дали ему забросить всего один мяч. Правда, во втором тайме он кое-что показал. Так ведь это потому, что мы с Дино (Менегином) устали. Но и при этом он набрал всего 19 очков и не доиграл до конца, а я доиграл... Нет, Сабонис — дутая величина. Я знал о его травме, видел прекрасно, что он, безусловно, талантлив. Но сегодня это вполне заурядный игрок. Таких у нас десятки...»

Видимо, необходима маленькая справка. Американец Джо Маккаду вместе с другим американцем — Кеном Барлоу и с ветераном итальянского баскетбола Дино Менегином составили отличный триумвират центровых. Против этого трио Сабонис оказался бессилен. Да, в общем, и весь тот поединок славы Арвидасу не прибавил...

Этот баскетболист в свои 22 года завоевал мировую известность. Недавно Арвидас Сабонис снова получил тяжелую травму, был прооперирован в Вильнюсе замечательным микрохирургом М. Виткусом и сейчас находится на лечении и реабилитации в Финляндии, где специализируются на такого рода травмах (у него повреждено ахиллесово сухожилие). Медики утверждают, что через пять-шесть месяцев Арвидас начнет тренироваться и, вполне вероятно, скоро сможет играть в полную силу.

Фото Анатолия БОЧИНИНА

или Как трудно быть Сабонисом

Рассказ Хомичюса сопровождался возмущением по поводу необъективности Маккаду. Внешним возмущением. Потому что, когда Арвидас вышел из-за стола (часть игроков сборной обедала в ресторане аэропорта «Шереметьево» в ожидании самолета, когда и произошел этот разговор), уже Валтерс прокомментировал:

— Конечно, обидно. Но что возразишь? Уж кто-кто, а Маккаду баскетбол знает, людей повидал. И ведь правильно сказал. Сабас действительно сдает от сезона к сезону. Его звездный час был в 82-м, в турне по Штатам. Там он был королем. А то, что я видел потом,— ужас. Кому проигрывал? Тем, кто объективно и в подметки Сабе не годится. А он смеется, ему все «до фонаря»... Если он будет вести сегодняшний образ жизни, он продержится еще максимум четыре-пять сезонов...

А Арвидас действительно легкомысленно относится и к таким оценкам, и к своему будущему. Потому что память-то наша — куда от этого денешься — избирательна. И помнит он не свои плохие матчи, а удавшиеся. И считает их для себя показательными, а провальные — случайными. Или — объясняющиеся объективными, на его взгляд, причинами. И опять возразить нечего. Потому что — о, память, память! — и мы помним его феерическую игру, а о неудачах стараемся поскорее забыть. Одни матчи с ЦСКА чего стоят...

На вопрос, откуда такая его ошеломляющая игра, Арвидас отвечал: «Надо иметь фантазию, воображение...»

Но что фантазия без реальности, без фундамента? Не одному тренеру снилось, как к нему приходит такой игрок — очень высокий, мощный, быстрый, прыгучий, меткий. Рядом с которым все кажется игрушечным: корзина низко висит, потолок не так уж высок, соперники — лилипуты. Можно посочувствовать тренеру другой команды, не «Жальгириса», не сборной СССР.

Так, убежден, думали тренеры, увидев звездные матчи Сабониса...

Трудно было тогда найти эпитеты для игры Сабониса, даже для одного какого-то действия, жеста. Правда, шофер жальгирисовского автобуса нашел, имея в виду только его игру под щитом: «Руки Сабониса, как очистители, убирают все мячи...»

Его игра тогда стала надежной, мужской. Робер Бюснель, знаменитый французский специалист баскетбола, в унисон с другими знатоками бросил только одно слово «фантастика...»

Конечно, Сабонис — это явление. Но ведь вся каунасская атмосфера пропитана баскетболом. Парки, скверы, улицы, площади, набережные седого Нямунаса дышат им. На наружном орнаменте Галереи витража в самом начале Лайсвес аллеи изображены несколько мячей — старинные, из лоскутов, но мячи. Не верите? Всмотритесь — и увидите...

Это, конечно, только фантазия, воображение... Но Арвидас Сабонис — реальность.

...Травма, полученная весной 86-го на турнире в Испании, усугубленная в Буэнос-Айресе, дала-таки знать о себе. Неверно поступил и тренер «Жальгириса» Гарастас, пойдя на поводу у Сабониса и других игроков. Арвидас рвался играть и в чемпионате страны, и в Кубке чемпионов, что было не так уж необходимо. И хотя тур в Ленинграде Арвидас пропустил, в Бухаресте и затем в Каунасе зачем-то играл. После этого консилиум постановил: уложить в больницу. Иначе потеряем его совсем.

Решение было принято с непонятным трудом. То, что хорохорился Сабонис, понятно. Но куда смотрело руководство республиканского спорткомитета, «Жальгириса»? Гомельский рвал и метал в Москве, умолял, приказывал, требовал: хватит из парня все соки тянуть, обойдетесь вы и без него какой-то период, пожертвуйте частью, чтобы не потерять все, дайте ему отдых, устройте настоящее лечение, оградите от всех прилипал, от приятелей и девиц, от соблазнов; нужен жесточайший режим! А его подозревали, что хочет Александр Яковлевич помочь ЦСКА, хотя уже давно не работал Гомельский в армейском клубе, вообще ушел из армии, снова готовил сборную страны и смотрел вперед, в лето 87-го, лето чемпионата Европы в Греции. И дальше смотрел, в осень 88-го, в осень Олимпиады. Да, но в Литве по-прежнему считали, что Гомельский «убирает» «Жальгирис», преграждает путь «Жальгирису» к золотым медалям...

Когда же у нас научатся жить не одним сегодняшним днем и видеть дальше собственного носа? Ну, какой Гомельский враг Литвы, «Жальгириса», если становлением своим, наличием таких звезд, как Сабонис, Йовайша, Хомичюс, Куртинайтис, литовский баскетбол во многом обязан этому человеку. Нельзя же быть до такой степени ограниченными в рамках своей республики, чтобы не понимать: интересы сборной, всего советского баскетбола, олицетворением которого, конечно же, является Сабонис, выше...

Этот разнобой сослужил недобрую службу и Арвидасу, и «Жальгирису». Команда «посыпалась». Уставшие, выдержавшие труднейший год, ребята и без Сабониса до поры до времени сражались достойно. А с ним, хромым, невольно постоянно прислушивающимся к боли, инстинктивно берегущим себя и, следовательно, действующим не только не в полную силу — в четверть силы, стали проигрывать. И дома, и за рубежом. Тут и началось выяснение отношений: «маленькие» валили всю вину на него, он — на «маленьких», все вместе — на Гарастаса, Гарастас — на своих звезд, руководство не знало, чью сторону взять, недоброжелатели потирали руки. Появилось опасение, что команда просто развалится. Дублеры обижались, что их не ставят, а выходили и ничего не показывали. Йовайша точно определил: вчетвером европейские кубки не выигрываются. Не выигрывали в матчах, которые можно было выиграть, которые уже были почти выиграны. Не хватало какого-то «чуть-чуть», не хватало потому, что Сабонис был половина Сабониса, а у остальных иссякли силы...

Ложась в больницу. он был уверен, что это ненадолго, недельки на две — не больше. Но доктор Миколас Билюнас. заведующий отделением. был другого мнения. Сабонис согласно кивал, а сам думал о том, как бы поскорее вырваться на волю. Тем более что на пятый день благодаря интенсивному лечению он уже ходил и боли почти не чувствовал.

Билюнас тоже был уверен, что все будет в порядке. Но ни о каких двух неделях не может быть и речи — минимум месяц, а то и полтора. И никаких фокусов. А Арвидас торопил события, его подстегивали неудачи «Жальгириса», он едва не убежал из больницы «спасать» матч с ВЭФом. когда увидел по телевизору. как безнадежно проигрывает его команда в родном «Спортзале». И стоило большого труда удержать его. Он ведь как капризный ребенок: захочет чего-то — вынь да положь. Благо что машина — и не одна — всегда под рукой: приятели так и вились вокруг него, не больничная палата, а клуб. А дежурные врачи и сестры ему не указ, он ведь и для них — кумир, всеобщий любимец. они ему все готовы простить и позволить. А уж трибуны, онто знает, встретили бы его появление восторженным ревом. Вот оно. чистое мальчишество, живет минутой, о будущем мало задумывается! И многие потворствуют. К сожалению, и друзья тоже. Не только внебаскетбольные, превращавшие лечение в развлечение. (Так что даже было приказано отключить телефон у него в палате, хотя и эта мера мало помогала: доставали его и так, что больше всего и возмущало Гомельского. И поэтому следующий полуторамесячный цикл лечения и индивидуальных тренировок Сабонис провел в Новогорске, где рядом с ним постоянно был врач сборной Виталий Карчевский и очень часто сам Гомельский...) И чего добились в итоге? Ну, выпустили его раньше времени, заиграл он снова с больной ногой, уже на второй день снова стал хромать, ни о каком Кубке мечтать не приходилось. Правда, «золото» они с ним, даже одноногим, все же выиграли. Что ж, он уникальный игрок, он и одноногий многого стоит...

Доктор Билюнас сказал, что в принципе такой баскетболист, как Сабонис, может играть лет до сорока, до сорока пяти! При условии, что к нему будут относиться исключительно бережно и вообще наш баскетбол, наш спорт станет серьезнее заниматься вопросами профилактики и реабилитации здоровья игроков. И, конечно, сам Сабонис должен по-взрослому, разумно, внимательно относиться к себе. Это касается всего: режима в быту, тренировочных и игровых нагрузок, диеты, времяпрепровождения, распорядка дня...

Конечно, Арвидасу в больнице было тоскливо. Хотя любой другой пациент только позавидовал бы условиям, в которых находился Арвидас. Палата на двоих, телевизор, видеомагнитофон, обычный магнитофон, телефон, любые книги, журналы, продукты самые дефицитные, да и запретов особых не было. Разгуливал по коридорам, флиртовал с симпатичными сестричками, а то и укатывал с друзьями проветриться (к сожалению, и на это доктора закрывали глаза). Правда, все предписания, назначения, процедуры выполнял дисциплинированно и терпеливо, а ведь некоторые из них были крайне болезненными.

Но... Усилия Билюнаса во многом пошли насмарку, и времени упущено уйма. Выигрыша не получил никто, проиграли все...

Арвидас же до сих пор уверен, что все обойдется, что он еще свое возьмет, что травмы пройдут без следа. То, что он так стремится настоять на своем,— неплохо. Если, конечно, твердость не превращается в упрямство. А это в нем есть. И тогда с ним не сладить. Остается надежда, что повзрослеет и станет несколько иным...

Отсюда и разговоры о том, что он зазнался, задрал нос, высокомерен, никого не слушает. Доля истины в этом есть. Но виноват здесь не он один — все. Ведь ему многое прощается, многое сходит с рук, его так опекают, так стараются все сделать за него... Нужно машину для поездок на рыбалку, на охоту? Пожалуйста, будет машина. И несколько дней за ним бегают взрослые люди, работающие на ответственных постах, и чуть не умоляют: приезжай, Арвиделис, забирай машину! А он может себе позволить забыть, не приехать, не побеспокоиться. Да и зачем, если есть масса желающих взять все заботы на себя? Так любовь, обожание, превознесение до небес портят молодого парня. И он невольно привыкает к такому отношению. А это — самое страшное. Чем скорее это поймут и он сам, и окружающие, тем лучше...

Великий он — на площадке, а в обыденной жизни — обыкновенный мальчишка. И так и надо к нему относиться, четко отделяя одно от другого. Иначе мы никогда правильно не оценим и не поймем такое явление, как Арвидас Сабонис.

Вот он уважает людей, которые держат свое слово, не подводят. Может быть, и потому, что самому этих качеств не хватает. Ценит тех, кто ставит перед собой большую цель и стремится к ней неуклонно. В общем, ему по душе люди с сильными характерами. А ненавидит он людей скользких, доносчиков, хамелеонов. И с такими очень резок. Разве это плохо? Но вот такие и распускают потом слухи о «звездной болезни» Сабониса, названивают ему по ночам и, ничего не говоря, только дышат в трубку (Сабонисы уже несколько раз меняли номер), навязываются в приятели, тянут к застольям. И бороться с ними не ему одному — всем нам. Не водружать нимб над его головой, но и не подхватывать ложь и клевету.

Кого-то коробит, как он кричит на площадке не только на ровесников, но и на ребят старше себя. А он ведь кричит не потому, что презирает их или считает настолько ниже себя, что другого тона и не признает. Кому от Сабониса на площадке достается больше, чем Лекераускасу? Никому. Но кто трогательнее всех относится к нему? Сабонис. Альгис Пранцкявичюс, лучший внебаскетбольный друг Арвидаса, рассказывал, что даже подбором гардероба Лекераускаса Арвидас занимался, как своим. Потому что ему хочется, чтобы второй центровой «Жальгириса», его дублер, выглядел достойно. И в игре он его чаще подбадривает, нежели ругает.

Не раз видел и слышал, как общается Сабонис с партнерами и соперниками. В разных обстоятельствах. И обратил внимание: самую болезненную реакцию вызывают в нем отказ от борьбы, трусость, робость и непонимание законов Большой игры, гармонии Большой игры.

Был какой-то матч с тбилисцами, ничего не решающий матч. Счет огромный — в пользу «Жальгириса». Тбилисцы забили. Сабонис тут же выбросил мяч из-под щита и убежал вперед. На ходу получил мяч от Йовайши, прокинул его себе за спину, сделал от центра поля два широченных шага и уже собирался вложить мяч в корзину, зависнув в воздухе. Это было бы фантастично. Но кто-то из тбилисцев выпрыгнул и схватил Арвидаса за руку: свисток, фол. Сабонис изо всей силы ударил мячом об пол и что-то резкое, грубое выкрикнул. Тут же получил фол в свой адрес... Сабонис разозлился на динамовца не за сам факт фола, не за то, что тот сделал ему больно: терпеть Арвидас умеет. Но тонкая натура Сабониса, игрока, великого игрока, не могла простить такого бесцеремонного вмешательства в гармонию, смириться с разрушением красоты. Вот и сорвался... Это не безобразные выпады в адрес судей, с угрожающими жестами, замахиваниями полотенцем, бранью — что он позволяет себе все чаще. Вот за это ругать надо! И спрашивать надо построже...

У Сабониса до недавнего времени, до конца прошлого года, все было просто: дорога — прямая, жизнь — без особых волнений и забот. В конце концов, и к росту своему он привык. И славу осознает как непременное добавление к бытию.

А ведь, не дай бог, случится с ним несчастье. Всем ли он по-прежнему будет нужен? Ведь я заметил — даже в команде не всем. И как он, оставшись один, будет себя чувствовать, покинутый теми, кого считает близкими? Надо бы ему об этом задуматься. Говорил ему об этом — смеется: меня еще никто не предавал. Хорошо, если так. Так ведь и он еще в силе, наверху: знаменит, удачлив, необходим всем. Необходим той игрой, которой от него ждут.

Юрий КОРШАК



УМИРАТЬ — ОТ ЛЮБВИ...

Искусство — это ненависть к фатальному исходу, помогающее человеку жить. А любовь делает его непобедимым даже перед лицом смерти.

Сия преамбула понадобилась мне для того, чтобы ввести вас, читатель, в одну печальную и поучительную историю. На ее творение режиссер Эльдар Александрович Рязанов со своей съемочной группой потратил полтора года жизни, снимая на «Мосфильме» фантасмагорическую трагикомедию «Забытая мелодия для флейты». Она о любви, от которой до смерти один шаг, как ни экзотично это звучит, смущая наши сердца.

Уже слышу отдельные сердитые голоса: «Скажите, какие нежности! Да так не бывает!»

Мало ли чего не бывает! А вы представьте!..

В служебном кабинете некоего начальника орудовала реанимационная бригада.

Сам начальник — кстати, герой нашей картины — Леонид Семенович Филимонов (играет его Леонид Филатов) лежал на диване и, судя по всему, умирал.

— Пульса нет! — констатировал врач.

В лифте ехало несколько сотрудников.

— К кому «скорая помощь» приехала? — спрашивал мужчина.

— Филимонов дуба дал! — бесстрастно ответила женщина.

— Надо же! — изумилась хорошенькая дамочка. — Первый день как заступил в должность — и здравствуйте!

— Не здравствуйте, а прощайте! — мрачно пошутил пожилой сотрудник.

— Да... не успел полакомиться! — подытожила хорошенькая дамочка.

Душа Филимонова слышала этот равнодушный некролог, но поставить на место бывших подчиненных уже не могла.

Вот под такой «вечерний звон» глупо обрывающейся жизни, в скупой, почти репортажной манере (а как вы, читатель, догадываетесь: события и факты сценария настолько вымышлены, что совпадение с действительностью будущего фильма чисто случайное) начинается этот роман о любви с летальным исходом.

Все мы периодически влюбляемся, хотя и не все в этом признаемся. Говорят, что это полезно для здоровья. Картина Рязанова разрушает этот миф самым решительным образом и наглядно предостерегает особенно влюбчивых товарищей, что тут нужно знать меру.

Но настоящий объект внимания авторов — современная чиновная среда Главного управления свободного времени, «типичным представителем» которой и является наш герой.

Он в какой-то степени внук Бывалова из «Волги-Волги» и сын Серафима Ивановича Огурцова из «Карнавальной ночи» — мальчик очень способный и в отличие от своих легендарных, но не любивших учиться предков получивший блестящее музыкальное образование.

— Я окончил консерваторию по классу флейты, потом был аспирантом, и меня приглашали в большой симфонический оркестр!.. — говорил он своей возлюбленной Лиде Мельниковой, говорил, не бравируя, и даже огорчался, что все так вышло.

А вышло, что он «удачно женился» и вскоре оказался вторым человеком в Главном управлении, метящим на пост первого, и принялся играть не на флейте, а на судьбах самодеятельного творчества и даже находить в этом своеобразное удовольствие. Он мог принять (а мог и не принять!) постановку гоголевского «Ревизора» на сцене Дома медиков. Он мог отправить на юг (а мог и на север!) целый тамбовский хор, который так и летал с его легкой руки перелетной стаей, потеряв надежду когда-нибудь приземлиться в родном Тамбове...

Он был умен, талантлив, проницателен, хорошо представлял последствия своих поступков, но никогда не доводил их до печального конца.

А Лиду он приметил прямо на «Ревизоре», где она замечательно жила в образе Марьи Антоновны. Потом Лида (да она просто подарок нашего бесплатного здравоохранения — медсестра в их ведомственной поликлинике!) делала ему кардиограмму после сердечного приступа, до которого его довел своим искусством многострадальный тамбовский хор во время утверждения репертуара. Но когда Лида пришла делать ему укол на дом... тут уж в его художественной натуре совершенно проснулся Иван Александрович Хлестаков! Проснулся и заявил:

— Вообще-то я по должности да и по убеждению атеист. Но мне кажется, что там, наверху... кто-то есть!

Этому же «кому-то» было угодно, чтобы домашние нашего счастливца оказались в отлучке: жена в Ленинграде за учеными прениями, а дочь замужем «за каким-то ничтожеством».

Так начинается самая волнующая мелодия «Забытой мелодии для флейты», сцены первого сближения ее героев. Зять могущественного Федора Демьяновича, развращенный комфортом и умеющий «власть употребить», вдруг чувствует себя Адамом, увидевшим Еву, и, что странно, это чувство кажется ему подлинным... (Еву, медсестру Лиду Мельникову, играет Татьяна Догилева, и ей веришь безо всяких скидок на условность.)

Забыв о своем здоровье, товарищ Филимонов предложил Лиде как-то отметить его болезнь...

Филимонов не сводил с Лиды глаз...

— А, ветчина! — восторгалась Лида. — Я обожаю ветчину!

— Вы правы, ветчина в самом деле... свежая!..

Лида не выдержала и громко расхохоталась:

— Но вы же едите грибы!

— Разве? — Филимонов тоже рассмеялся. — Я был убежден, что ем ветчину. — И добавил, уже без улыбки: — У меня голова кружится... Можно, я вас поцелую?

— Первый раз вижу мужчину, который спрашивает на это разрешение.

— Так можно или нельзя?

— Минуточку, я икру доем.

— Ешьте, ешьте...

Эта сцена снималась в павильоне «Мосфильма» в декорации шикарной филимоновской квартиры. Рязанов внушал оператору Вадиму Алисову сугубо голландскую мысль: сделать из этой сцены соблазнительный натюрморт — и следил, чтобы на реплике «Ешьте, ешьте» никто не съел черную икру, которая была на самом деле подкрашенным пшеном.

Когда же гастрономический Рубикон был наконец перейден и Филимонов непосредственно приступил к духовному общению с Лидой, на пороге как нельзя кстати появились любимые сослуживцы Леонида Семеновича, которые, оказывается, жить не могут без своего руководителя: начальник управления самодеятельно-художественного творчества Мясоедов (Александр Ширвиндт), начальник управления свободного чтения Сурова (Ольга Волкова) и начальник управления охоты и рыболовства Одинков (Валентин Гафт) со здоровенной рыбиной бестером — гибридом белуги со стерлядью, добытым им во время ревизионного налета на рыболовную базу...

Тут следует без метафор предупредить вас, читатель, что не все, о чем мы говорим, вошло в фильм. Искусство — дело тонкое!

Однако есть в сценах на квартире Филимонова два момента, которые не могли не войти в картину, потому что в них «засвечивается» характер самого героя.

Это когда Филимонов, смущенно представляя Лиду сослуживцам почти как «девушку из бюро добрых услуг», дает ей пять рублей. («Хорошо дает! — радовался Рязанов на площадке. — Может, отдать ему эту пятерку...») И другой раз, когда после бурного объяснения Филимонов порывается ее проводить... Он ждет, пока она выйдет из квартиры... а потом набирает по телефону номер милиции и говорит в трубку:

— Это Филимонов. Поставьте квартиру на охрану.

В логическом финале картины, ретроспективно возвращающем нас к трагическим минутам ухода героя из мира страстей в мир иной, он под грузом невыносимого счастья и благополучия будто бы начинает прозревать, хотя из беседы с Леонидом Филатовым я вынес твердое убеждение, что «пациент» безнадежен и конец его предопределен... «Он принадлежит к тем чиновникам, которые еще вчера распоряжались искусством».

— Я сижу в кресле начальника Главного управления свободного времени, — размышлял вслух Эльдар Рязанов. — Это, естественно, выдуманное учреждение. Такого нет. Потому что если бы мы назвали не выдуманное учреждение, то нам бы костей не собрать... Но, рассказывая об этом управлении, нам бы хотелось намекнуть на многие другие.

Надо сказать, что чиновники наши унаследовали очень много скверных черт от службистов XIX века: и чинопочитание, и преклонение перед авторитетом, и боязнь принимать решение на себя — много пороков, которые мы хотим в нашей картине обличить. Эта компания чиновников показана в нашем фильме с большой нежностью... Я это говорю в кавычках, как вы понимаете, потому что и сам я лично натерпелся от чиновников и считаю, что этот слой — вязкий, мутный — висит на ногах страны, на ногах нашего народа, который рвется вперед, к обновлению, чтобы очистить себя от скверны прошлых лет. Это гражданский пафос нашей ленты.

Но картина не только сатирическая, не только рассказывающая о чиновниках, она еще говорит о любви. И любовь является тем пробным камнем, вокруг которого горят и происходят все эти страсти. Я бы назвал нашу картину так: «Растиньяк наших дней» или «Глумов-87».

Комедия Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» — его девятый «кинороман» с драматургом Эмилем Брагинским за двадцать пять лет их содружества. Музыку написал композитор Андрей Петров. Премьера фильма — в сентябре.



ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ СНИМАЛ
«ЗАБЫТУЮ МЕЛОДИЮ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»,
А ФОТОМАСТЕР НИКОЛАЙ МАНЕШИН В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
СНИМАЛ РЯЗАНОВА И ЕЩЕ ГАФТА,
ДОГИЛЕВУ, ФИЛАТОВА, ПАНКРАТОВА-ЧЕРНОГО.
ЧТО-ТО ИЗ ЭТИХ КАДРОВ ВЫ УВИДИТЕ В ФИЛЬМЕ...



ПОДВОДНИКИ

Из всех кораблей
Военно-Морского Флота
к подводным лодкам питаю
особое пристрастие.
Ведь одна из них моя.
Четыре года службы
отдано
подводной лодке,
четыре года прожито
в славной семье подводников.
И когда представилась
возможность снова побывать
на субмарине, как в юности,
почувствовать
глубину погружения,
глотнуть после всплытия
соленого
морского воздуха,
не раздумывал ни минуты.

Владимир КУЗНЕЦОВ,
соб. корр. «Огонька».
Фото автора

...Резкий свет, мгновенно пронзивший всю замысловатую систему линз, ударил в глаза. Фокин на секунду зажмурился. Открыв глаза, командир уперся взглядом в огромный пылающий шар, качавшийся на горбатой спине океана. Шар то проваливался в сонные волны, то подпрыгивал над ними. Солнце будило океан, красота начинающегося дня дурманила радостью.

Идиллическая картина разрушилась вползающей в перископ черной громадиной. Корабль «противника» давил солнце, резко меняя краски восхода.

— Боцман, ныряй на восемьдесят... Опустить перископ...

Командир с юношеской легкостью скользнул по вертикальному трапу в центральный пост. Мозг его, как и несколько минут назад, снова включился в режим компьютера. Организм опять напрягся. Одержанная только что побе-

● ВСТРЕЧА В МОРЕ.

● ВАХТА У ПЕРИСКОПА.

● «ЧИСТИЛИЩЕ» ПЕРЕД ВСТУПЛЕНИЕМ В ПОДВОДНЫЙ МИР ПРОХОДЯТ ПОДВОДНИКИ С. ПИЛИПЕНКО и Р. ФЕДОРОВ.

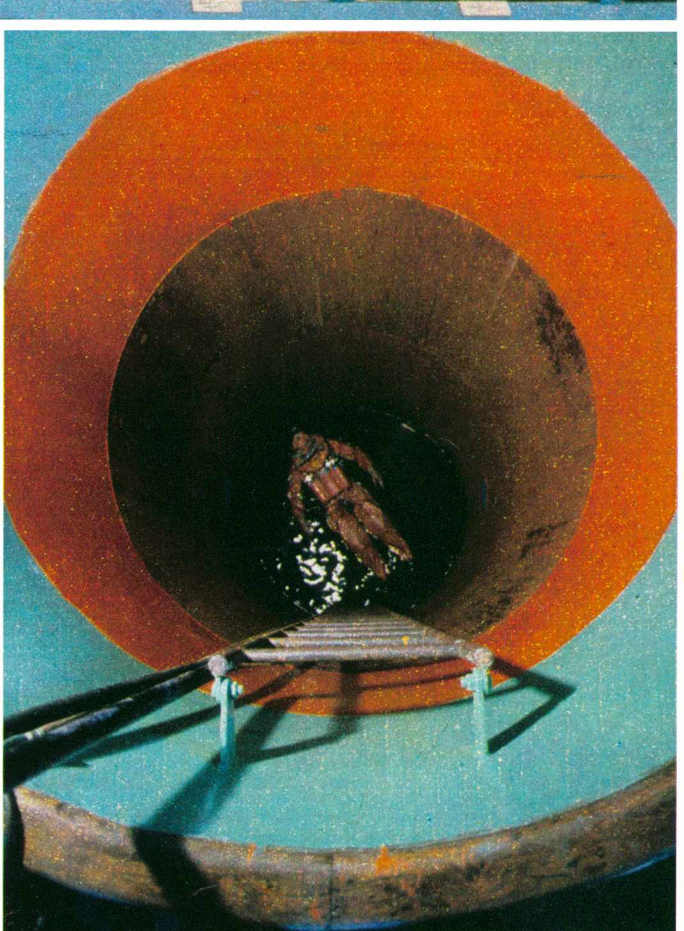
● ПОДВОДНИКИ А. ЗИЯДАНОВ, В. БАРАНОВ и И. ОБИРИН.



РЕБЯТА В МОРЕ, НА РАБОТЕ,
А БЕСКОЗЫРКИ С ПАРАДНОЙ ФОРМОЙ ОСТАЮТСЯ НА БЕРЕГУ.



ЗАНЯТИЯ С МОЛОДЫМИ МАТРОСАМИ
ПРОВОДИТ СТАРШИЙ МИЧМАН А. БУРАВИЛИН.



ТРЕНИРОВКА.

ПОДВОДНИКИ

да не расслабила командирскую волю. Экипаж провел подводную атаку, расчеты которой заслуживали высокой оценки,— в этом Фокин убедился, подняв перископ.

Но сейчас он, командир подводной лодки, вступал в другое сражение, исход которого зависел от его знания и опыта, отваги и решительности. Подводная лодка — оружие коллективное: задача, какой бы она ни была, выполняется всем экипажем. Роль командира здесь, как нигде, ответственная. Да и «поле боя» особое: квадрат океана, выбранный судьбой для сражения, да штурманская карта, истыканная иглами измерителя, исчерченная множеством линий — курсов своих и противника. Командир знает обстановку не только на «поле боя», но и вокруг: под водой, над водой и даже в воздухе. Экипаж — сжатый в единый, нацеленный к действию мускул, состоящий из десятков характеров и судеб, заостренный к бою и на всех постах готовый выполнить его, командирскую, волю. А он выразитель коллективной воли.

В отличие от других видов оружия подводная лодка целится не поворотом установки или стволов, она поворачивается к противнику всем корпусом. И когда курсы лодки и атакуемого корабля скрещиваются, как мушкетерские шпаги, пересекаясь в залповом пеленге, командир короткой командой «Пли!» дает волю торпедам. А после атаки начинает работу на других фронтах: у подводной лодки, кроме «противника», с которым она вступает в поединок, есть еще и два постоянных — море и глубина.

Лодка, хлебнув кингстонами океанского рассола, втягивает перископ и, наклонившись вперед, идет в глубину. Темная бездна сжимает корпус, давит на него все сильнее с каждым метром погружения. Подводник сердцем чувствует мощь многотонного свода, сжимающего его обитель,— узкий объем, рассеченный внутри переборками с круглыми лазами. Переборки с люками разделяют анфиладу гудящих в полумраке, повторяющих друг друга отсеков, где в кабельных и трубных сплетениях, среди рычагов и вентилей на боевых постах стоят подводники, словно плечами подпирая шпангоуты, противостоящие давящей снаружи огромной силе.

Любое плавание в океане — работа нелегкая. Корабль (будь он надводный или подводный) должен ходить точно по курсу, обеспечивая боеготовность своего оружия и бесперебойную работу техники. Но для экипажа подводной лодки это всего лишь часть задачи. Подводникам надо еще удерживать глубину. Лодка — организм очень сложный, все здесь взаимосвязано. Отказ одного органа может парализовать другие. Ну, а каково остаться без движения в глубине, представить не трудно. Это как с камнем на шее. Если перешел предельную отметку, корпус из прочнейшего сплава будет раздавлен чудовищным давлением, словно орех в тисках. При погружении каждый отсек становится автономным, наглухо изолируясь от соседних. Это на случай беды. Если огонь или вода появятся в одном отсеке, они не должны перейти в другие. Борьбу за живучесть отсека и корабля ведут те, кто расписан в аварийном отсеке. Суров закон, но иначе нельзя. И нет подводника, который бы осудил его.

Подводник начинается на берегу от своеобразного чистилища перед вступлением в подводный мир. Чистилищем является УТС — учебно-тренировочная станция. А проще — отслужившая свое старая подлодка, в отсеках которой молодые матросы учатся бороться с огнем и водой. Тренируются покидать отсеки в аварийной ситуации. Выходят в легководолазном снаряжении через трубы торпедных аппаратов, люки концевых отсеков или боевую рубку. Все так, как может быть в реальной обстановке. И молодому человеку надо уметь не растеряться в подводном аду, работать быстро и четко, чтобы в считанные минуты завести пластырь в извергающее воду рваное отверстие, спасти отсек, а значит, и подлодку от затопления. Так закаляется воля подводников, испытываются на прочность характеры молодых людей.

...Задраиваясь в своем отсеке, матрос Алексей Лепетух отчетливо сознает, кто он на этом боевом посту. Подводник может погибнуть, но корабль обязан выполнить задание. Принявшие сегодня эстафету не имеют права нарушать законы, утвержденные старшими поколениями. Здесь никогда не служили слабые люди.

В жизни каждого бывают моменты, когда увиденное остается в человеке на всю его жизнь. С Алексеем это случилось перед уходом в долгое плавание, когда молодые моряки, еще не познавшие глубины, поднялись на борт лодки-мемориала «С-56», что установлена во Владивостоке на Корабельной набережной. История этого корабля поразила юношей. Оказывается, отсеки, по которым они проходили, помнят героические атаки в северных фиордах, хранят эхо глубинных разрывов.

...Шла война. Обстановка на фронтах и западных морских театрах была очень тяжелой. Государственный комитет обороны принял решение усилить Северный флот за счет подводных кораблей тихоокеанцев. 6 октября 1942 года отряд субмарин, которым предстояло совершить почти кругосветное плавание, вышел из Золотого Рога. Штурман подводной лодки «С-56» лейтенант Ю. Иванов взял пеленг на маяк «Африка» — последнюю точку родной дальневосточной земли. А в марте сорок третьего он уже определял местонахождение подводной лодки в Баренцевом море.

В смертельных схватках с фашистами добывалась слава экипажа «С-56». После четвертого выхода на боевую службу тихоокеанцы уже имели на своем счету девять потопленных и поврежденных фашистских кораблей. К концу войны прославленный экипаж «С-56», ставшей гвардейской, краснознаменной, довел счет до четырнадцати потопленных и поврежденных кораблей врага.

В 1954 году подводная лодка «С-56» возвратилась домой на Тихоокеанский флот. Уступив охрану границ Отечества поколению современных подводных лодок, она поднялась на пьедестал памяти и славы. Документы только одного дня войны рассказывают, как фашистские корабли охранения уничтоженного подводниками транспорта сбросили на затаившуюся в глубине «С-56» 320 бомб и несколько суток не давали ей возможности всплыть. В лодке кончились запасы электроэнергии, воздух не регенерировался, люди задыхались. Коммунисты корабля собрались на партийное собрание, где решили стоять до конца, сражаться до последнего. Решение было объявлено по корабельной трансляции. От подводников стали поступать заявления с просьбой принять в партию. В тот день все члены экипажа, за исключением юнги Гладышева, стали коммунистами...

Точный расчет, мастерское владение техникой, мужество и отвага, доходящая до дерзости,— характерные черты советских подводников, передавших эстафету поколению Алексея Лепетухи. Сын белгородского крестьянина сейчас исполняет свой священный долг, охраняя рубежи мира в океанских широтах.

В мрачном безмолвии, оборвав все связи с внешним миром, скользит в глубине стальная сигара. Маневр для подводников привычный, но ответственный в каждом погружении. Не скрывая напряжения, управляет лодкой командир. Слишком велика ответственность перед людьми, идущими по его приказу на глубину. Ответственность перед матерями, доверившими ему своих сыновей и ждущих их возвращения на земле. Где ждут и его, капитана 2-го ранга, Ивана Ивановича Фокина. Ждут дети, жена, родители, давшие двадцать лет назад благословение на военную работу в океане. Фокин начал познавать азы морской службы в ТОВМУ имени С. О. Макарова. Окончив училище, лейтенант Фокин прибыл на Краснознаменный Тихоокеанский флот. Пройдя все должности, от штурманской рубки до командирского поста, принял под свое командование современную подводную лодку.

Подводная лодка — оружие грозное, скрытое. И не должен экипаж обнаруживать себя. Оттого-то командир, прежде чем дать команду на всплытие, осмотрится не раз, не раз послушает океан. Первые помощники ему в этом гидроакустики — глаза и уши подводного экипажа. От них зависят не только результаты атак, но и результаты маневров скрытности, самосохранения. Днем и ночью несут на лодке акустическую вахту (хотя грани между днем и ночью в подводном походе условны, а точнее, совершенно размыты). Море прослушивается от начала похода и до его конца. Слушается так, что по самому слабому писку в наушниках определяется тип корабля, идущего за многие-многие мили. В запаянном пространстве прочного корпуса внешний мир доступен только гидроакустикам. Голоса океанской жизни доносят в рубку гидрофоны. Человек же должен в этой какофонии определить тот шум, ради которого он ушел на глубину. Шум, способный разразиться большой бедой.

Сегодня на страже берегов Отечества стоят современные корабли, способные совершать кругосветные плавания в подводном положении.

Представьте картину, когда над ночной равниной океана вдруг появляется веретенообразное тело и тяжело дышащая шпигатами подводная лодка кажется живым существом, уставшим после напряженной работы в океанских недрах.

Работа у экипажа капитана 2-го ранга Фокина была действительно тяжелой. Впрочем, у подводников легкой работы не бывает. Лодка, выполнив задание, возвращается домой.

И вот она уже стоит, прижавшись левым бортом к знакомому пирсу. Отдыхает сталь корпуса, отдыхают приборы, остановлены механизмы. Не останавливается только служба у подводников. Наоборот, на берегу она усложняется заботами о доме, семье. В море проблемы берега перекрываются постоянной заботой о делах службы, плавания. На берегу же они постоянно на виду. Вроде бы и дома офицер-подводник, а дома и не бывает. Рабочий день Фокина начинается в шесть утра и заканчивается в двадцать два — двадцать три часа. Уходит — дети спят и приходит — спят. Не у каждого офицера-подводника есть свой дом на берегу. Из экипажа Фокина только командир имеет благоустроенную квартиру. Семьи остальных офицеров и мичманов снимают комнаты, временно живут у знакомых. Значит, «тыл» подводника ненадежный. Заботы берега о тех, кто несет службу в океане, оставляют желать лучшего. Почему-то берег мало заботится о тех, кто месяцами живет в железе, среди тревожных команд, звонков и ревунов. Ступив на землю, они не всегда получают взамен элементарные человеческие блага, которыми пользуются офицеры берега. Даже внешне, исключая излишнюю бледность лица, подводник не отличается от тех, чья служба проходит от звонка до звонка. Кто-то из офицеров плавсостава предложил ввести отличие хотя бы в нарукавных нашивках. Пусть они останутся на тужурках и кителях тех, кто несет службу только на кораблях.

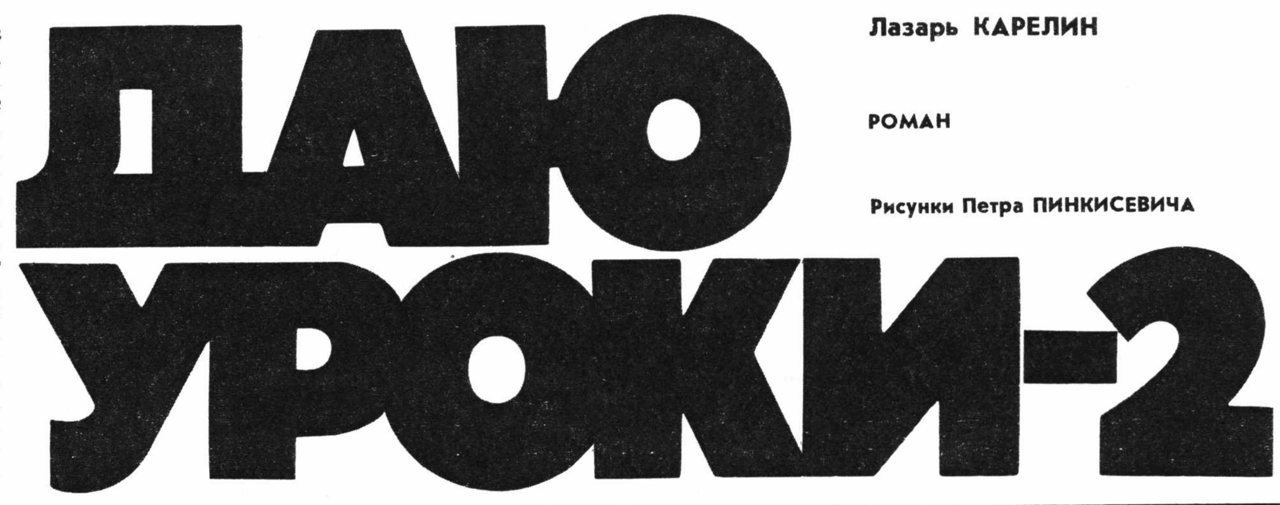
За несколько дней пребывания на знакомой базе я почувствовал, как снизился престиж службы на подводных лодках. Конечно, тех, кто стремится списаться на берег, гораздо меньше. И все-таки возможность, скажем, в береговой части дослужиться от лейтенанта до капитана 1-го ранга, получать все положенные при том блага и ходить на службу как в гражданское учреждение — с девяти до восемнадцати — заставляет задуматься. Однокашники Фокина, оставшиеся на берегу, имеют то же звание и ничуть не ущемлены в бытовых условиях.

Расстроило меня и забвение традиций подводников старшего поколения. Вернувшиеся из походов экипажи давно уже не встречают жареным поросенком. Да что там поросенок, даже офицерская кают-компания, помнящаяся мне крахмальными, белоснежными скатертями, мельхиоровыми подстаканниками, блестящая чистотой, сегодня именуется просто офицерской столовой, зал которой не отличается от общепитовского. Сдвинутые голые столы, за которыми сидят не четыре человека, а десять — двенадцать. В центре застолья — чайник с компотом и в кучу свалены вилки с ложками.

Непонятно, почему сегодня отслужившие срок моряки, увольняясь в запас, стремятся уходить из части не в парадной форме, а в гражданском одеянии.

Хочется верить, что флот восстановит утерянные традиции и берег пересмотрит отношение к плавсоставу, поднимется престиж подводников, возрастет уважение к людям, которые только одним погружением ввергают себя в экстремальную ситуацию, постоянно действуют в зоне напряженности и риска.

■



Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

Ростислав Знаменский поправился после ранения, полученного в схватке с наркоманами. Вскоре он встретился с полковником Мальцевым, которому нужна помощь в опознании человека, назвавшегося сценаристом Петром Сушковым,— никто, кроме Знаменского, не знает его в лицо. Это с ним разговаривал Ростислав, когда летел в самолете, не ведая, что попутчик везет в сумке около десяти килограммов наркотиков. Полковник надеется, что, задержав мнимого сценариста, можно будет установить адреса подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, а также тех, кто сбывает людям отраву. После недолгого раздумья Знаменский соглашается лететь с Мальцевым из Ашхабада в Москву.

4

Москва встретила их чудовищно скверной погодой. Дождь со снегом. А в Ашхабаде сейчас было градусов тридцать, но не больше, там длилась еще райская пора долгой осени, пора плодов и томления. Не яростная весна, сразу кидающаяся в зной, в испепеление, а такая вот осень была временем, когда на Ближнем Востоке и в Средней Азии поэты начинают слагать стихи, любовь добивается своего, природа переводит дух, слетаются в эти благословенные края со всего мира птицы.

А он уехал, умчался, улетел от этой поры. В дождь и снег. В муть какую-то. В неопределенность. Светлана оставалась в глазах с поднятой рукой. Женщина в белом халате и с поднятой, прощающейся рукой. Она велела ему уезжать, но надо было остаться. А он уехал. Ну что он может здесь, в Москве? Какая от него польза здесь? Ему поручат искать иголку в стоге сена? Какой-то «Кани мордачи» им нужен! Ничтожность какая-то! Мелкий жулик! «Гонец», как их называют! Перевозчик наркотиков! Да, вот именно наркотиков... Все дело в этом слове-убийце. Ашир из-за этого слова и был убит. «Война,— говорил он.— Идет война».

Знаменский стоял под козырьком аэропорта возле чемоданов и ждал Мальцева, который пошел раздобывать машину. Полковник-то ты полковник, большая, возможно, у тебя власть, но Москва вот тебе машину не выслала, Москва такой город, что свою табель о рангах имеет на каждого из нас. А если что и выслала им Москва, так этот дождь со снегом и порывистый ветер в лицо. Тут и сильный духом поникнет. Серьезный город Москва. И тебя, поникшего духом, собираются в бой вводить в этом городе? Ну дела! Не кинуться ли к кассе да и назад с первым же рейсом?! Он никому ничего не должен, никому ничем не обязан. Он репетитор, дает уроки английского и французского ашхабадским ребятишкам. Он на нуле, нулевой человек!

К Знаменскому подбежал длинноногий рыжеватый парень, широкоплечий, спортивнейший. Когда подбегал, рекорды ставил, одолевая лужи. Был он в ладной спортивной куртке, на которой мерцал значок мастера спорта. Но лицо у парня было испуганное и жалкое.

— Я что хочу спросить?.. Вы самолетом из Ашхабада?.. Вам фамилия Мальцев ничего не говорит?..— Молодой человек спрашивал и озирался, пребывая чуть ли не в панике.

— Говорит. Он пошел искать машину.

— Так я же машина!— вскричал парень, взметнув свое натренированное тело, чтобы пошире был обзор.— Вернее, я с машиной. Ну будет мне!

И тут появился Мальцев. Неприметный, в тесном ему костюмчике, с неуверенной поступью военного, загнанного в штатское. Он и улыбался как-то виновато.

Молодой человек рванулся к нему, вытянулся, кинув руки по швам.

— Товарищ!..

Мальцев лишь приподнял ладонь, и молодой человек смолк, рванул себя «кругом», кинулся за машиной.

— Да...— Мальцев невесело глядел, как перелетает через громадные лужи его водитель, наверстывая упущенное.— Да...

— Не сердитесь на него,— сказал Знаменский.— Ну, опоздал малость. А парень симпатичный. И так, знаете ли, волновался, когда искал вас.

— Правильно, что волновался. В нашем деле нельзя опаздывать. Привычка должна быть не опаздывать. Отпущу я его, наверное, в журналисты.

— А вы строги, строги, Владимир Иванович. И не подумаешь.

— Такая служба. Еще поймете.

— Кстати, я не понял, почему вы в первый раз встретились со мной столь конспиративно. Аж на кладбище вызвали, прямо как в кино, в детективчиках этих. А вот в аэропорту всем себя представляли и полетели мы вместе.

— А что кино? Там парни неглупые, да и консультирует их наш народ.

— Значит, зачем-то вам это было нужно? План вызрел?

— Еще не вызрел. Да мы и неплановое учреждение. У нас версии вызревают. Одна, другая, третья... Прикидываем. А на кладбище в вас с помощью милейшего Дим Димыча притянул, чтобы не подставлять, случись, если не захотите в драку лезть. За вами в городе пригляд начался. И за мной, разумеется. Убийцу Ашира мы схватили. Но разве он один?

— А зачем тогда в аэропорту такая гласность началась?

— Пусть знают. Ростислав Знаменский не струсил. Пусть знают.

— Значит, все-таки план?

— Версия, версия...

Подкатила машина, отполированная черная «Волга».

— А Москва вас, гляжу, уважает,— сказал Знаменский.— Генеральский экипаж.

Уселись, покатили. Водитель старался, гнал, наверстывая свое опоздание.

— Петя, после драки кулаками не машут,— сказал Мальцев. Он сидел рядом с водителем, кося усмешливые глаза на Знаменского.— Вас Москва, Ростислав Юрьевич, еще больше уважает, у вас ведь «мерседес».

— Какого года?!— взметнулся Петя.

— Молодая, молодая машина,— сказал Мальцев.— И цвет весьма модный, темно-вишневый.

— «Черри»!— уважительно произнес Петя, напирая на «р».

— А еще что вы про меня знаете, Владимир Иванович?— спросил Знаменский.

— Почти все. А вот что за пределами этого «почти»— вот про это не знаю. Да и вы не знаете. Мы про себя узнаем, так сказать, по ходу пьесы, а пьеса наша с вами только началась. Да не гони ты, старший лейтенант! Нам еще жить охота! Вы сперва, наверное, к маме?

— Да.

— Гоголевский бульвар, сорок три,— назвал адрес Мальцев.

— Все знаете про меня?

— Почти, почти...

— Владимир Иванович, а стоит ли из-за этого «Кани» так выкладываться? Ну, обыкновенный подонок с изжеванным страстишками личиком.

— Это вы хорошо его обозначили. «Кани»... «Злые»... Берем кличку на вооружение. Стоит ли? Чую, что стоит. Эта его легенда о себе, которую он так тщательно затвердил, то, что спрятали-упрятали, уложив на дно, все это настораживает. Интеллигент, наверное, все-таки. Ну, вшивый, а интеллигент. А у них интеллигентов-то маловато.

— У кого?

— У них, у них. Не он нам важен, важно следующее звено. У них ведь цепочка налажена. Конспираторы! Этот знает этого и ни шагу дальше. А этот следующего. И так далее. Часть цепочки мы в Туркмении и Каракалпакии прихватили, а часть звеньев надо искать где-то здесь.

— Головку!— обернул свою рыжеватую, верткую головку старший лейтенант Петя.

— Именно, товарищ старший лейтенант. Кстати, Ростислав Юрьевич, хочу прикомандировать нашего Петра Андреевича Брагина к вам. Гонщик, самбист, боксер... Кто ты там еще у нас, Петр?

— Вообще-то я десантником был. Афганский...

— Вот, служил в Афганистане. Кавалер двух орденов Красной Звезды.

— Еще немного — и третью бы звездочку мог получить. Красиво, когда три. У нас, я слышал, были ребята. В той же цене, что одна золотая.

— Видали, коллекционировал награды. Да, тщеславен, это огромадный минус.

— Не тщеславен, а честолюбив, товарищ полковник. Сами же проповедовали, что честолюбие в нашем деле не возбраняется.

— Проповедовал? Похож я на проповедника, Ростислав Юрьевич?

— Есть немного. Но почему такого замечательного парня вы ко мне прикомандировываете? Я не заслужил.

— В серьезное вползаем, Ростислав Юрьевич. Или не поняли? Петр Брагин суровую школу прошел. Тридцать мин разминировал. Тридцать, Петя?

— Тридцать. И по сорока ассистировал. Мокренькими выскакивали. Вывинтишь жало, отбросишь чушку, а сам весь мокрый. Потеха!— Петр Брагин обернулся к Знаменскому, думая, что улыбается, но он не улыбался, его губы только кривились в улыбке, его глаза страшновато округлились, замерли зрачки.

— Ладно, ладно, Петя, сморгни.— Мальцев положил руку на руку Брагина, добро коснулся.— Да, там воевали страшно. Коварно. Камушки, игрушки. А это мины. В лицо улыбаются, а в спину стреляют. Утром — друг, ночью — враг. В атаку там не шли, подползали. Вот я его и взял, «афганца» нашего, к себе. Но сперва, конечно, он окончил милицейскую школу. Был в Афганистане сержантом, пришел туда вообще юнцом, а вот теперь за плечами и война настоящая, и офицерская школа.

— И вот прикомандировываете ко мне?

— Улыбчивые вы оба, поладите. Ну, вот и Москва. Как это в пьесах пишут? Место действия — Москва. Время — наши дни. Хотел бы я заглянуть в конец этой пьесы.

— Сделаем хэппи энд!— сказал Петя, сморгнувший, повеселевший.— Третью готовьте, товарищ полковник!

— Ну, ну. И я не люблю печальные концы. Ни в коем случае! Я, если узнаю, что фильм или спектакль плохо кончается, не иду смотреть. Кстати, о кино. Так думаю, что этот «Кани» все же какое-то отношение к кино когда-никогда имел. Судя по вашему рассказу, он все же знает этот мир не по-затверженному, пожил все же в нем. Ну, неудачник, разумеется, выплюнуло его кино, это уж точно. Но... прикипел к нему. Говорят, кто в кино поработал, тот вроде как бы наркоманом становится, не может совсем отойти от этого дела. Неужели ж оно такое сладкое? Ведь единицы пробиваются к настоящему.

— А надежда?— сказал Петр Брагин.— Надежда юношу питает.

— И до самой старости, до конца дней своих все на что-то надеемся. Да, стало быть, кино...— Мальцев помолчал, прикидывая.— А не поступить ли вам на работу в Госкино, Ростислав Юрьевич? Для начала, скажем, переводчиком. Зарубежные

Продолжение. См. «Огонек» № 31.

фильмы на закрытых просмотрах перетолмачивать нашим киноведам, не ведающим ни одного иностранного языка.

— Включая и русский,— сказал Знаменский, вспомнив мигом себя на этих именно закрытых просмотрах, в маленьких залах чаще всего, в невероятно душных залах. Вентиляция ли плохая там была, или народу набивалось слишком много, или картинки такие всегда потные шли, но только всегда там было душно и потно. Переводчикам на этих просмотрах бывало нелегко. Текст иногда такой был, что хоть стой, хоть падай. Он-то знал язык, про себя смущался, а эти мужчины и женщины, переводившие, должны были проговаривать обычно не произносимые на людях слова вслух. И смущались, запинались, так сказать, проваливались сквозь землю.

— Сомнительная работка,— сказал Знаменский.— И почти всегда сомнительные картинки. На Западе их потными называют. Там в зальчиках на таких фильмах либо старичье, либо юнцы, усыпанные прыщами. Серьезные люди не ходят, стесняются.

— Серьезные люди дома смотрят, есть такие «хитрые домики»,— сказал Петр Брагин.— Кассетки прокручивают перед юными созданиями, а потом... Я одному «серьезному» очень аккуратно морду перелицевал. Думаете, пожаловался на меня? Не-а! Слопал! А потому что совесть нечиста. Ненавижу таких!

— Опять забыл, что погоны носишь?— строго спросил Мальцев.— Смотри, старший лейтенант!

— Я был в курточке, товарищ полковник.

— Да хоть в трусах!— Мальцев обернулся к Знаменскому.— Беда с этими «афганцами», Ростислав Юрьевич. Вбили себе в голову, что у них какое-то особое право вершить правосудие. Мол, кровью завоевали это право. А может, они правы, а? Вы-то, Ростислав Юрьевич, со своим шрамом переговариваетесь? Крови, говорят, потеряли порядком.

Знаменский не ответил. Его вели, не уставал этот полковник вводить его в какой-то ему, полковнику, надобный настрой, весь разговор был жестковато-нацеленный, хотя вроде бы просто шла о том о сем дорожная беседа. Нет, его вводили в суть обязанностей. А что за обязанности все-таки?

— Ну, поступлю я в переводчики, а дальше что? Как там по вашей пьесе?

— Не знаю. Мы эту пьесу не пишем, мы в ней участвуем. С нашей версией. Версия... Попробуем вот эту, с кино.

— А меня возьмут?

— Похлопочем...

Началась Москва. Давно уже тянулась, но то были неприметные въездные улицы, они как бы сами себя не заявляли, а лишь готовили Москву, но вот грянули белые стены и золотые купола Андроникова монастыря, и началась самая Москва. Красивая? Про Москву не следовало бы допытываться, красива ли она там ли или там или не хороша собой там вот и там. Москва больше, чем смысл оценивающих ее облик слов. Всякая



она у нас. И в разное время разная. И когда мы разные, и она иная. Иной дом для тебя, когда ты весел, иной же для тебя, когда впал в уныние. Монастырь этот белый сейчас как бы протянул ладони Знаменскому. И дальше так пошло. Вспыхивали, протягивались в глазах дома, то близкие, родные ему, а то чужие, даже враждебные.

Вот и Арбатская площадь, Гоголевский бульвар. Родная площадь, родная улица. Мелькнул справа, скорее угадался, серый дом, затесненный громадами новых корпусов, дом этот был для многих, кто тут жил, их родильным домом. Бывало, проходя мимо, глянув на этот дом родильный имени доктора Грауэрмана, Знаменский, ну, что ли, умилялся. Сейчас промельком ударил дом по глазам, как бы ладонью в серой перчатке провел по всему детству, сметая его, стирая былую радость, солнечность той поры. И Арбатская площадь, потерявшая свое лицо, а новое еще не нашедшая, и Гоголевский бульвар, к которому новый Гоголь так и не подобрал ключи,— все сейчас не радовало, даже пугало, серым цветом вставало в глазах, напоминая, возвращая в недавнее, когда померкла его высвеченная солнцем жизнь, беспечная, окрыленная, когда навалилась беда. Уехал, сорвался и уехал, но вот вернулся. И все еще хуже стало, труднее. Что скажет он матери? Как встретится с женой? Что это за работа, которую ему предложено делать? Во что он втягивается?

Машина остановилась возле дома из розового туфа, единственного такого на Гоголевском бульваре, а может, и во всей Москве. Армянский розовый камень, который удалось когда-то добыть ловкому председателю строительного кооператива, еще довоенного кооператива, лег в стены этого розового дома, где, должно быть, жили одни только счастливцы. Знаменского в школе звали по цвету дома «розовым мальчиком». Может, он от этого дома и усвоил что-то, когда ставился характер,— кто знает, отчего и как у нас ставится характер.

Над Арбатской площадью не было ни дождя, ни снежка этого, который еще только пробует силы, предвещая свой надолго приход. Над площадью, когда въезжали на Гоголевский, даже синеватый клочок неба промылся. И старая церковь на Гоголевском, нет, на Филипповском, церковь апостола Филиппа семнадцатого века сверкнула подновленной позолотой куполов и массивного креста... А что, если заладится жизнь?.. Мать, старея, начала наведываться в эту церковь. Стыдилась, таилась, а все же заскакивала туда на какие-то там службы праздничные. А потом и таиться перестала. «Да, ну что тут поделаешь, вера всегда была важна в нашем роду...» «Но это же не костел, мама. Калиновские наверняка были католиками». «Я не очень в этом разбираюсь, сынок, я ведь современная старуха».

Она еще не была старухой, она еще и на пенсию не вышла, в ней столько сохранилось энергии, что куда там молодым. Ее и дома никогда не было. Уйма дел!

Вот их дом, сложенный из розоватого туфа. Синева и над ним промылась... А что, если вступает он в новую полосу, если заладится жизнь?..

Машина въехала в арку дома, очутилась во дворе, где от детства остался лишь тополь древний, а все вокруг было снесено, все домишки, сарайчики, та обширнейшая страна детства, которая столько каждому из нас говорит, когда возвращаемся мы домой. Только тополь приветствовал его. И обшарпанная эта дверь подъезда, когда-то нарядная. А двора не было, перед глазами Филипповский лежал переулок, в котором что-то ремонтировали и что-то уже начали сносить. Здесь ничего нельзя было сносить. Ничего! Но уже при-

ступили к убийству и еще какого-то домика, которому надлежало стеречь здесь старину и достоинство Москвы, но который мешал этим нуворишам, этим слонам в посудной лавке. Померкло небо.

Чемоданы были извлечены, стали прощаться. Петр Брагин излучал симпатию, тряс руку как другу. Как же, вместе теперь предстояло работать. А что за работа, что все-таки за работа?

— Какую я должен излагать официальную версию по поводу своего возвращения в Москву?— спросил у полковника Знаменский.

— Фантазируйте напропалую. Заслужили... Рисковали... Ну, что-то в этом роде.— Полковник тоже был благожелателен, одарил крепким рукопожатием. Как же, работать-то предстоит вместе.

— А на самом деле?— спросил Знаменский, заглядывая полковнику в глаза, в его прищур веселый.

— Элементарно,— сказал полковник, и взгляд его утратил веселость, отвердели зрачки.— Элементарно,— повторил он.— Вот Ашир Атаев заслужил, вот он рисковал.

Полковник, отяжелев вдруг, неуклюже полез в машину. Петя рванулся и вмиг очутился за баранкой.

— До завтра!— крикнул он, мелькнув мимо Знаменского рыжеверткой головой.

Умчалась машина. Где-то уже на Сивцевом Вражке взвизгнули ее тормоза. Если так гнать, она теперь у Кропоткинских ворот, промелькнула вот мимо бассейна, рванула вдоль набережной. Как же, гонщик за рулем. Детектив, между прочим. Самбист и все такое прочее. Афганец! А это не пустой звук. А уж о полковнике этом и задумываться боязно. Да, такие дела, такие у тебя теперь знакомцы.

— Элементарно...

Подхватив чемоданы, Знаменский протиснулся в подъезд, что сделать было нелегко, сильная новая пружина все время прихлопывала перед ним дверь.

— Элементарно...— Привязалось слово. Он проговаривал его вслух и медленно, чтобы вникнуть в смысл, в тот, какой вкладывал Мальцев. Но какой особый смысл мог быть в этом и на звук-то искусственном слове? Нет, пожалуй, вот в чем суть, если вникнуть в мысли полковника Мальцева: иначе просто-напросто он, Знаменский, поступать не мог. Позвал Ашир помогать, и начал ему помогать. Все очень просто. Это долг его. Элементарно!

5

Мать не удивилась ему. Будто он не чуть ли с того света вернулся, а заскочил домой, как часто бывало, чтобы дух перевести после светского своего житья-бытья, хлебнуть кофейку, пожевать оладушек. И мать всегда спрашивала: «За кислородом примчался?»

— За кислородом примчался?— спросила она и сейчас. Была она в своем линялом халатике, утро ведь еще, непричесанная, но волосы все же под кокетливой косынкой, не позволяла себе и в одиночестве распускаться. Худенькая, маленькая, но с утра уже как заведенная пружинка, так и дверь отворила, распахнув, так и вопрос свой задала не без подначки. О шляхтяночка ты моя старенькая!

Но на том все ее притворство кончилось. Она припала головой к груди сына и захлюпала, что-то забормотав по-польски, а это означало, что она в безмерном пребывает смятении.

Так постояли недолго, прижавшись друг к другу, мать и детеныш, звериную ощущая потребность вобрать в ноздри запах друг друга, узнавая друг друга по запаху. Но вот эта минута растерянности прошла. Она отстранила от себя своего громадного, великолепного сына и затараторила, чуть пришепетывая:

— Я знала, что ты с честью выйдешь из этого несчастья! Я молилась за тебя. Не улыбайся, никто ничего не знает про это. Болит?— Она, не притронувшись, коснулась шрама, точно угадав, где он у него врезался в спину.— Болит?

— К непогоде.

— А сейчас?— И она посмотрела, оглянувшись, за окно.

— Нет.

— Верно, небо проясняется. Да, я знала, что ты вернешься победителем. Даже эта женщина там — это тоже добрый знак. Женщины не припадают к ногам неудачников. Лена вернулась сама не своя. Ничего! Это ей урок. Жена да последует за своим мужем. В юдоль, так в юдоль. А она продолжала вести светский образ жизни. Раскатывала по Москве на твоем «мерседесе». Словом... Конечно, ты вернешься к Лене? Тебе сейчас не время рвать эти узы. Да, ты заслужил прощение, но все-таки, все-таки связи необходимы. Ты понял, о чем я?

Мать говорила, напористо утверждая, где только возможно, свои шипящие, а сын тем временем делал обзор их небольшой квартиры, две комнатки которой и кухня сходились дверями к почти круглой передней: повернись на каблуках — и вся квартира перед глазами. Сюда его и принесли из родильного дома, что по соседству, отсюда он и в школу пошел, которая рядом, в Плотниковом, а потом в институт МГИМО поступил, который был тоже неподалеку. Так сказать, поворачивался на каблуках всего лишь, выбирая дорогу в жизни, судьбу. Да и шикарный дом Лены был неподалеку. Дом для избранных. Элитарнейший, если судить по зеркальным окнам, но еще и тем знаменитый, что в нем живал великий Шолохов, когда наезжал в Москву. Все рядом, до всего было рукой подать, удобно слагалась жизнь.

— Как у тебя будет с работой?— спросила мать.

— Элементарно.

— А с партией?

— Элементарно.

— Господи, как я счастлива, что все позади!— Она подошла, опять коснулась, не притронувшись, к его шраму, упавшим голосом сказала:— Ты что-то недоговариваешь, сын? Хотя...— Она ухватилась за это его невразумительное слово-ответ.— Хотя... ты прав... еще через многое надо пройти... это элементарно...

Потом они пили кофе, мать быстро испекла его любимые лепешки, замешав тесто на соде. В их доме, ну хотя бы в их подъезде всегда жил запах дешевого кофе и этих вот лепешек из пресного теста. Здесь когда-то жили взысканные удачей семьи, потом они скудели удачей, первовладельцы этих квартир исчезали, а их дети в трудную входили жизнь. Эту квартиру Ксения Казимировна унаследовала после отца, который исчез, едва въехав сюда. Здесь она выросла, схоронила мать, завоевывая свою судьбу, которая редкими одаривала улыбками. Здесь и появился Юрий Знаменский, рослый красавец, но недолго прожил, семья распалась, отца маленький Ростислав изучал по одной-единственной фотографии, довольствуясь легендой, что отец погиб, строя где-то в Сибири электростанцию. Ксения Казимировна нелегкую провоевала жизнь. Профессия у нее была не очень надежная, но все же кормила. Получив по окончании киноинститута диплом сценариста, Ксения Казимировна пристроилась на киностудии научно-популярных фильмов, была там редактором какое-то время, потом стала писать «научпоповские» сценарии. Про что угодно, обо всем на свете. И про автомобильные покрышки, как их делают, и про очистные сооружения, как они работают. Но это было в самом начале. Потом, освоившись, набрав опыта, а главное, контактностью своей и кротостью укрепив связи, стала писать сценарии о художниках, о выставках, словом, вошла в среду людей искусства, где тоже укрепила связи контактностью и кротостью, готовностью прийти всякому на помощь; она была добрым человеком, то есть трудная жизнь не озлобила ее, а обучила отзывчивости. И подняла же сына, добилась для него великолепной судьбы. Да, случилось несчастье, но то не его вина, а обстоятельств, среды.

— Кстати, мама, я теперь буду работать в кино,— сказал сын.

— В «Экспортфильме»?!— встрепенулась мать.

— Что-то в этом роде.

— Вот видишь!— Мать вгляделась в лицо сына, решая, ликовать ей или повременить.— Ты рад?— осторожно спросила она, так и не решив, радоваться ли ей самой.— Там работа ведь разная. Тебя будут посылать за границу?

— Уточним по ходу пьесы,— уклончиво ответил сын.

— Все-таки позвони Лене. И если тебе угодно выслушать мой совет...

— Я понял, мама, ты уже этот совет мне дала.

— Считаешь, что я не права? Рвать с женой, с ее кланом, когда только начинаешь опять вставать на ноги,— это же элементарно неумно. Ты согласен со мной?

— Элементарно.— Он поднялся, ушел в свою комнату, вернее, комнатку, где стоял от детских лет однотумбовый письменный стол, где узкая стояла тахта, на которой сперва он отлично умещался, потом приставлял один стул, потом два стула. Здесь на стене висела потускневшая рапира, он когда-то занимался фехтованием. Была приколота к стене и фотография короля, рядом с которым ему довелось сфотографироваться. Еще были приколоты всякие-разные вехи его жизни, его восхождения из детства в победоносную взрослость. Висел и большой портрет жены. Она была хороша на этой цветной фотографии, задумчиво-загадочной была. Ничего не скажешь, красивая женщина. Он подошел к окну, за которым тянул к нему руки-ветви старый тополь. Эти ветви были всегда.

6

На четвертом этаже этого дома парфюмерно пахло кинопленкой, дорогими духами сановных дам, и еще пахло какой-то растерянностью, если это состояние душ тут работающих допустимо ввести в столь материальную категорию, как запах. Но растерянность ощущалась, была просто физически распространена в воздухе и, стало быть,— а почему и нет?— имела свой запах. Еще не изученный, не уловленный точнейшими аппаратами? Но наука-то стремительно развивается. Доказать, что страх или там растерянность материальны,— это завтрашний ее день.

Знаменский сидел за микшером в небольшом зале на четвертом этаже, зале, прозванном судьбоносным, ибо в нем прокручивали по первому разу картины, утверждая или не утверждая их, но, разумеется, с поправками. Все дело и было в этих поправках. Иные сводили фильм на нет, лучше уж было класть картину на полку. Так и поступали, клали лет порой на двадцать. Впрочем, справедливость все же иногда торжествовала. Именно ныне было то самое время, шло и расцветало, когда справедливость начала торжествовать. Снимаемые с полки фильмы снова попадали на экран этого зала, даже всего лишь зальчика, все те же сановные дамы, ну, не без мужчин, конечно, но все же дамы преобладали, рассматривали этот возвращаемый к жизни фильм, и — о чудо!—он оказывался талантливым нужным, просто необходимым. И режиссер, получивший в свое время отказ и разгон, еще когда кудрявым был и не заикался на нервной почве, узнавал ныне, что он талантлив, ну просто талантлив и молодец, ну просто молодчина. Увы, где его былые кудри? И все-таки он был счастлив. Он становился знаменитым. Теперь и он сам мог что-то там такое не принять, обругать, отодвинуть или задвинуть. Слава дает права на власть в кинематографе и вообще в искусстве. Власть же тем и сладка, что можно пинать ногами другого. Конечно, если несколько огрублять все и вся. А Знаменскому именно и хотелось огрублять. Скверно было на душе. Раздражало все. Ну, чем он занимался? В какие наблюдения воткнул его этот полковник Мальцев со своей версией? Грязноватая деятельность выпала на долю Знаменского по ходу, так сказать, пьесы. Он катал и катал на своем «мерседесе» по разным адресам, иногда и просто сомнительным, чтобы переводить собравшимся, сбившимся в зальчиках фильмы с явным и даже резким порнодушком. Верткоголовый Петя, конечно же, в курточке, всякий раз новой, неизменно сопровождал его. Играл роль водителя этого таинственного переводчика, про которого было известно, что у него собственный «мерседес», вот даже личный водитель, паренек со значком мастера спорта, и, стало быть, даже не водитель, а телохранитель, да, да, именно так, такая у нас работенка. Знали еще, что Знаменский, переводчик этот, из «племени зятьков», этих нулей-то нулей, но с палочкой, что он на чем-то погорел, оттого и подрабатывает столь странным все же образом, но... еще не вечер, как говорится. Многие из посетителей просмотров припоминали Знаменского, вспоминали, что он мелькал еще недавно на экранах телевизоров, и легенда о нем ширилась. А если кто чего-то еще не знал, то мог порасспросить словоохотливого рыжего паренька баскетбольного роста, водителя и телохранителя, который про своего шефа рассказывал с восхищением и без утайки. «С королями и премьерами чаи хлебал!— нашептывал Петя.— Ну, временно мы не у дел!— подмигивал он.— А все дамы и производное от них...»

Вот такая шла игра, зачем-то нужная для «версии» полковника. А на душе было скверно, прескверно и еще того скверное.

Задача же была самая наипростейшая. Ему с Петей надлежало таскаться по всем просмотрикам подобным, по даже злачным местам, если звали на квартирки на хитрые, где крутили кассеты, те самые, потные, и где собирались люди, знающие почти все в жизни, но, увы, не знающие английский и французский. А хотелось все же знать, что там смешное-пресмешное толкает эта девочка без ничего, когда ее зацеловывает этот пузан усатый, отчего они хохочут до упаду, если по совести-то надо плакать. Хотелось знать, нужда возникала в слове изреченном, ибо оно-то, как известно, и умеет солгать. Ловкого лганья хотелось при рассматривании этих невероятных все же поз, каким бы ты ни был бывалым и раскованным. Перевод вносил успокоение и уют, ибо диалоги были не без юмора. Знаменский пере-

водил. Петя, усаживаясь поближе к двери, вроде б даже подремывал. Надоело ему, нагляделся. О себе говорил: «Я практик, а не теоретик». Но вся задача была в том, чтобы где-то, на каком-то из просмотров застукать этого «Кани мордачи». И все дела. Условлено было, что Знаменский, едва углядит его, просто вставит в перевод неожиданное и громкое словцо: «Кани!» И все дела. И тогда выяснится, на что способен этот рыжий паренек баскетбольного роста, подремывающий у дверей. Выяснится в миг, что он не холуй при этом зятьке погоревшем, что значок мастера спорта им не куплен, а заработан в поте лица, что он самбист, десантник и, а это важнее всего, афганской выделки парень. Но «Кани» не возникал. А расчет был, что возникнет. Перевозчики наркотиков — они и сами приобщены к этому недугу. Втягиваются. Втягивают. И такой «на дне» не усидит. Недуг этот, как известно, нуждается в обществе. Это алкоголик может давить стакан в одиночестве, наркоман — никогда. Ему нужна среда, его кайф общественен. И, конечно же, такие картинки потные ему необходимы. И чтобы девочки были, обалдевающие и уступающие. А иначе зачем все? Зачем жизнь? Предполагалось, что их «Кани» где-нигде, а вынырнет. «Тепло, тепло,— возвещал Петя, когда они отправлялись по очередному адресу.— Чувствую, что сегодня будем брать!» Нет, Петино «тепло» не срабатывало, «Кани» где-то плотно лежал на дне.

Зальчик на четвертом этаже тем временем заполнялся. Тут «Кани» ждать было нечего, тут проходил для Знаменского его официальный рабочий день. Но в таких именно официальных зальчиках и завязывались нужные знакомства, глядишь, кто-то и зазывал этого переводчика с легендой к себе домой. «Есть чудный фильмик! Кассетка что надо! Заскочили бы, перевели бы! Без диалогов как-то все теряется». Знаменский отмалчивался, не обещал, но Петя адресок записывал. «Звякнем!»— сулил он. И звякал, и они навещали квартирку обладателя кассетки. И брали деньги за визит. А как же, Знаменский работал. Но «Кани» все не было. А ощущение неумытости, когда давно бы надо ринуться под душ, но душа нет, это ощущение становилось невыносимым. Оттого и злился, всех осуждая, явно впадая в ханжество. От себя не ждал, ему ли быть ханжой, не он ли и сам еще недавно заскакивал на такие фильмишки? Все так, но впадал. Вот сбежались, кресел не хватило, стулья из кабинетов принесли. А кто да кто здесь? Не они ли нынче только и озабочены конструированием какой-то новой модели советского кинематографа? Не они ли призывают народ смотреть фильмы серьезные, духовные, заставляющие думать, а не развлекаться? Ну, филистеры! Ну, притворщицы и притворщики! Однако ни Робеспьера, ни Марата здесь не было. Крупных никого не было, берегли репутацию, но зато были все остальные. Впрочем, иные и не такие уж мелкие. Вот эта вот верткая дамочка, похожая на черноглазое и в букольках премиленькое веретено, она же где-то вершитель киносудеб. А этот, с усиками оксфордского студента и манерами джентльмена, но, жаль, с алчущими губами честолюбца или выпивохи, ведь он главный глашатай серьезности в кино, ему только «Чучело» подавай и еще там «Письма мертвого человека». Он-то почему здесь?

А он как раз и объяснил, картинно встав в дверях:

— Что, разожмемся, дамы и господа?!

Ах, вот что?! Они тут так все устали от конструирования новой модели кинематографа, что решили разжаться, отвлечься, нравственную проделать разминочку.

— Ведь надо же нам знать, как они на Западе падают все ниже и ниже!— отозвался из зала чей-то женский голос, в серьезную будто бы интонацию заплетая чуть-чуть и глумливость. Этой женщине было неловко, но она со своей неловкостью справлялась. Ее раздевали, она сопротивлялась, но не слишком отчаянно. И вот уступила наглым рукам: — Профессионалам надо знать все!

Вот так, оправдания найдены. Во-первых, не худо и разжаться, во-вторых, надо же знать, как они на Западе падают все ниже и ниже, а в-третьих, и это самое главное, профессионалы же тут собрались, а профессионалам надо быть в курсе того, что творят их коллеги, куда их заносит. Все правильно, понять собравшихся в этом зальчике было можно, а понять — значит простить. Но все же здесь явно материализовалось смущение.

К счастью, стал пригасать свет, фильм начался. Он уже разок переводил этот фильм. Порно-то он был порно, но не без морали. Забавно: аморальный, но с моралью. Такие фильмы относили к категории «полу». Мол, есть и секс, даже грубый, но есть и мысль. Но смотрели-то, высматривали не мысль, а «это самое». Хотя, конечно, внедрялась и мысль.

Этот фильм, сразу же замелькавший на экране нагими телами, содержал мысль, внушал ее и делал это достаточно убедительно. Какая мысль? А изолгались все, скоты все, похотливцы и похотлюхи. Стоит только поставить человека, его или ее, в соответствующую ситуацию, и слова высокие будут отринуты, устои и молитвы забыты. И тело в тело, собачья, так сказать, свадьба.

Фильм шел. В некой гимназии, в одном из классов, где стоял черный рояль, вот под роялем этим, нагие на черном фоне — тут оператор себя показал мастером,— совокуплялись два юных тела, грешили гимназист с гимназисткой. Оператор был на высоте, ему некогда было смущаться, он работал. Операторы вообще не должны впадать в эмоции. Разваливается на их глазах самолет — снимай, а не закрывай от ужаса руками лицо. Падает с крыши небоскреба самоубийца — снимай, снимай, следи объективом за полетом тела, позабыв, что это человек гибнет. И наш оператор снимал, таинство делая явностью, фиксируя не любовь — разве есть любовь?— а похоть.

Юных любовников застукали. В дверях столпились учителя. Мужчины и женщины. У них были странные лица, когда они смотрели на эти белые тела под черным роялем. Оператор старательно и зорко снял лица учителей, мужчин и женщин.

А потом началось разбирательство, вернее, судилище, когда юных любовников привели в учительскую. Их стыдили, на них кричали, над ними глумились. А ведь это могли быть Ромео и Джульетта... Учителя об этом не подумали. Они глумились. Создатели фильма тоже об этом не подумали, не догадались, что могут сказать о серьезном, о самом важном, сказать про то, что надо оберегать юные души. Нет, сюжет не туда пошел, устарел ваш Шекспир. Вся выдумка сюжетная, вся находка, за которую сценаристу и заплатили, была в том, что школьники, старшеклассники и старшеклассницы, решили отомстить ханжам учителям. И началось! В чем суть мести? А доказать, что и эти строгие дамы, и эти унылые мужчины, если за них умело приняться, падут и сами согрешат под тем же черным роялем. Девочки занялись педагогами-мужчинами, мальчики — педагогами-женщинами. И началось, и закрутилось. Одна крепость падала за другой. Тела старых и юных переплетались, извивались, рушились педагогические устои, к чертям летели нравоучения, похоть захлестнула экран. Вот и весь Шекспир.

Диалог был в этом фильме нехитрый, Знаменскому почти нечего было делать. Вся суть фильма была в находчивости молодых в деле соблазнения пожилых. Ханжество посрамлялось весьма лихо. И если в зале, когда начался фильм, материализовалось смущение, то теперь просто заклубилась похоть.

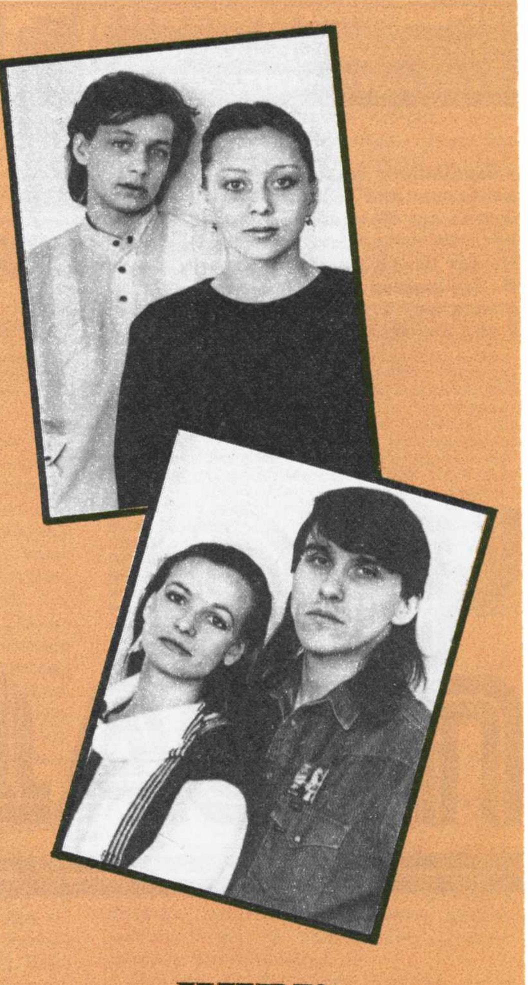
Знаменский, сидя за микшером, видел лишь затылки, иногда профили зрительниц и зрителей. Иногда взблескивали зрачки, иногда кто-то ухал или ахал, себя выручая этакой бесшабашностью. Но все же одна дама поднялась, когда что-то особенно грязное началось на экране, и вышла, ступая по ногам, как выходят из ресторанного зала, когда замутит. Других нестойких не оказалось.

Фильм кончился. Киномеханик, возможно, тоже прильнувший к смотровому окошку, свои, возможно, имея суждения о сидящих в зале, сразу и резко врубил свет. Все на миг стали голенькими. И устыдились, кто куда пряча друг от друга глаза. Но это продолжалось какое-то лишь мгновение. А что, собственно, произошло? Ну, грязный фильм. Но ведь не дети же здесь собрались. И потом им и важно было познать, как вот и еще в одном фильме, изготовленном, кстати сказать, не без ловкости, падают устои, и кинематограф, особенно в США, явно деградирует, тогда как у нас, именно в эти дни предпринимаются титанические усилия, чтобы создать новую модель, удержать кино от скатывания к западным поделкам, перечеркнуть всех этих «Анжелик» и упредить появление чего-либо подобного тому, что только что отмелькало на экране.

— Фу! Мерзость! Дышать же нечем!— чуть ли не хором запели дамы, покидая зал с явным опозданием, но и с явным негодованием. Нет, это зрелище не для них! В последний раз теряют они время на подобное! Но он-то, Знаменский, встречал эти милые лица и раньше, надо думать, встретит и еще на подобных же просмотрах. Досада улетучится, любопытство возобладает.

Мужчины вели себя мужественней. Как после попойки. Подтрунивали, похохатывали, напоминая друг другу кое-какие места из фильма, и их явно забавляло смущение женщин. Мужчины оставались мужчинами.

Продолжение следует.



ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Их четверо — молодых артистов советского цирка, покоривших взыскательную публику Парижа.

Говорят, на арене сегодня мало звезд. Неправда. Звезды есть. Их только надо уметь зажигать. Подтверждение тому—недавно закончившийся международный конкурс молодых артистов цирка. Елена Панова, воздушная гимнастка, удостоена золотой медали, Николай Челноков и Галина Кораблева (они исполняют номер «Акробаты на вертикальном канате»)—серебряные призеры, как и жонглер Геннадий Киль. Конечно, их успех разделяют режиссеры, воспитавшие молодых артистов: Виктор Фомин и Тереза Дурова подготовили Лену Панову, Галину Кораблеву и Николая Челнокова; киевский режиссер Николай Баранов придумал и поставил номер Геннадию Килю.

Каждый из них достоин отдельного рассказа. (О Николае Челнокове мы сообщали читателям в конце прошлого года. Мы предсказывали молодому артисту отличное будущее. Рады, что не ошиблись.) Уверены, каждый из них еще не раз порадует публику артистизмом, мастерством, уникальными трюками.

И подумалось: а что, если молодым артистам объединиться в одну программу и пригласить молодого талантливого клоуна, ну, например, Грачика Кещяна (это имя неизвестно широкому кругу любителей цирка, а знатоки манежа высоко его ценят), привлечь к постановке талантливого молодого режиссера, скажем, Виктора Франке или Юрия Туркина? «Цирк открывает звезд!» Если такое представление будет, «Огонек» обязательно о нем расскажет...

Вл. ЛИНОВ

Фото Сергея ПЕТРУХИНА

*«Невиданное было время,
необъяснимое во многом, необъясненное пока»,—
думал я о 30-х, 40-х и начале 50-х годов,
печатая начало этих заметок («Огонек» № 18).
Но вот разом вышли романы Б. Можаева «Мужики и бабы»,
В. Дудинцева «Белые одежды»,
а главное, А. Рыбакова «Дети Арбата» —
в них писатели говорят во весь голос об этой эпохе.*

Дмитрий ИВАНОВ

ЧТО ПОЗАДИ?

И всегда, и в момент перестройки особенно, требуется не преимущество в отражении одного времени перед другим — требуется правда.

Печатают сейчас много о прошлом потому, что о нем уже написана правда. Будет написана правда о настоящем — ее сейчас же постараются напечатать.

Но без правды о прошлом трудно ждать правды о настоящем.

ПЕРЕВОРОТ



Взгляните, пожалуйста, на карту нашей страны. Остановитесь на Сибири, найдите Ангару, поищите ее самый северный участок. Видите там маленькую точку—Кежма? А недалеко будет вовсе безвестная деревня Мозгова. Вот сюда-то в начале декабря 1934 года приходит известие: первого декабря в Ленинграде злодейски убит Киров. И ссыльные обсуждают это событие...

Тридцать четвертый год. Легендарное время.

Эпопея спасения «Челюскина», первые семь Героев Советского Союза, энтузиазм строителей Московского метрополитена, возведение гигантов социалистической индустрии... Кто-то, наверное, вспомнит еще, что это был год триумфального XVII съезда партии — «съезда победителей».

За два месяца до его открытия, на 16-ю годовщину Октября, рассказывает Анатолий Рыбаков в романе «Дети Арбата» («Дружба народов», №№ 4—6), «Сашина колонна проходила близко от Мавзолея. На трибунах стояли люди, военные атташе в опереточных формах, но никто не смотрел на них, все взгляды были устремлены на Мавзолей, всех волновало только одно: здесь ли Сталин, увидят ли они его?

И они увидели его. Черноусое лицо, точно сошедшее с бесчисленных портретов и скульптур. Он стоял, не шевелясь, в низко надвинутой фуражке.

Гул нарастал. Сталин! Сталин! Саша, как и все, шел, не отрывая от него глаз, и тоже кричал: «Сталин! Сталин!» Пройдя мимо трибун, люди продолжали оглядываться, но красноармейцы торопили их — не задерживаться! Шире шаг! Шире шаг!»

Но ведь одновременно, даже еще раньше, куда-то ссылали раскулаченных с Дона, из Гремячего Лога у Шолохова в «Поднятой целине» — помните? И у Залыгина в повести «На Иртыше» сибиряка Степана Чаузова тоже ссылают куда-то «за болото». А в совсем недавно напечатанной повести Сергея Антонова «Васька» («Юность», №№ 3, 4) появилась и робкая попытка запечатлеть эту малоизвестную жизнь.

Так что сегодня удивляешься не столько смелости, сколько знанию и свободе, с какими А. Рыбаков детально, буднично, намеренно сдержанно, чуть ли не бесстрастно (как и во всем полотне своего романа,— за чем, однако, отчетливо ощущаешь огромную внутреннюю напряженность повествования) рисует положение, душевное состояние и отношения людей, оказавшихся в этой «новой действительности»,— да не просто людей, а «врагов народа».

До недавнего времени за завесою лет изгладилось, прочно забылось и не вспоминалось, что в стране тогда (и несколькими годами раньше, и еще многими-многими годами позже) существование всех и каждого вбирала и подчиняла провозглашенная человеком «с бесчисленных портретов и скульптур» формулировка: «обострение классовой борьбы». И оттого вся страна от мала до велика продолжала кипеть и бурлить в ожесточенной пролетарской борьбе, где никому не было покоя от постоянного страха, где любому и всякому грозило из правого стать виноватым. Газеты не меньше чем сводками ударных побед пестрели разоблачениями вредителей, саботажников, уклонистов, пособников, двурушников, перерожденцев и т. д. и т. п. Все должны были, как один, стать бдительными и непримиримыми. Газеты звали: «Вывести на чистую воду! Уничтожить! Добить! Стереть с лица земли!» (И надо было стать еще, еще, еще во сто крат бдительнее и беспощаднее,— тогда бы остановили, задержали «руку убийцы, подосланного врагами рабочего класса» к пламенному трибуну Сергею Мироновичу Кирову! А так — только теперь «дела о терроре рассматриваются в течение десяти дней без участия сторон, то есть без защиты, никаких обжалований, никаких помилований, расстреливать немедленно по вынесении приговора».)

И вот для всех этих-то отщепенцев, для каждого, кто забывает страх, в Кежме и Мозгове, в Богучанах и Рожкове, по всей Ангаре (и уж не по ней одной!) давно раскинулась и все расширялась ссылка.

Оказался здесь всего полгода спустя, как шел он перед Мавзолеем с товарищем Сталиным, и Саша Панкратов, москвич с Арбата, двадцати двух лет, студент с последнего курса транспортного института, член ВКП(б), административно-ссыльный на три года по пятьдесят восьмой статье. И вот он-то недоуменно спрашивает:

«— Киров, говорят, был хороший человек, хороший оратор, любимец партии. Кто посмел поднять на него руку?

Всеволод Сергеевич сел на лавку, откинул голову к стене.

— Кто бы это ни сделал, Саша, могу сказать вам с полной уверенностью: наступают черные времена».

Такова последняя строка последней на сегодня части романа «Дети Арбата»...

«— Ваша ссылка — это наши внутрипартийные дела, как говорил Пушкин: «Старинный братский спор...» — объясняет Саше местный уполномоченный НКВД Алферов — тоже не простой человек, «с тремя, а то всеми четырьмя ромбами». Его хотел забрать в органы к себе в Ленинград сам Киров,— ан нет, Алферов тоже по сути сосланный.

Панкратову слушать эти слова горько и непонятно. Ему самому вменили контрреволюционную деятельность и пособничество «подпольной антипартийной организации» на основании, что он, студент, выпустил стенгазету без передовицы и с эпиграммами на ударников учебы, да еще попросил преподавателя-экономиста рассказать об основах социалистического учета, а не только о тех, кто их якобы искажает. Это как — «по-братски»? К тому же тут, в ссылке, его успели обвинить во «вредительстве». За что? За то, что он взялся чинить колхозный сепаратор,— а «высовываться» не надо было, не то «тысячелетье на дворе». (Помните, наверное, главную заповедь Умрищева, героя недавно опубликованной, давней повести А. Платонова «Ювенильное море», рассказывающей об этих же временах: «Ступай и не суйся... Чем старина сама себя пережила: она не совалась!.. Пять лет в партии без заметки просостоял — оттого, что не совался в инородные дела и чуждые размышления,— еще двадцать простою — до самого коммунизма без одной родинки проживу...»)

А вместе с тем в начале того зловещего декабря Саша наконец-то получил весточку от девушки, которая теперь кажется ему такой близкой. «Есть Варя, есть мама, люди вокруг, есть его думы, его мысли, все, что делает человека человеком... В избе было хорошо натоплено, тепло и уютно. Ничего, можно жить!»

Вот почему он пропустил без ответа слова товарища по ссылке,— и молод Саша еще, и жить, в общем-то, можно везде, и куда уж, главное, чернее быть временам...

Но мы-то (не просто сегодняшние и даже не те из нас, кто знает, тем более если на собственной шкуре испытали «перегибы» 20-х, 30-х, 40-х и начала 50-х годов), но мы, читатели романа Рыбакова, мы теперь знаем: тогда продуманно, намеренно, расчетливо были предопределены времена самые черные.

...Если миллионы и миллионы людей до самого последнего времени вообще, наверное, ничего не ведали о беззакониях тех долгих-долгих лет, то миллионы и миллионы других должны были слышать, помнить, знать, что жизнь народа и страны, руководимых Сталиным, сопровождалась определенными «перегибами»; могли думать и хотели надеяться, что происходившие раз за разом в ту пору репрессии случались помимо воли вождя, что он доверялся преступным сподвижникам; могли, наконец, читать и полагать, что Сталин лично несет ответственность за просчеты и даже преступные ошибки... Но ведь были же и есть еще миллионы тех, кто верил и уверен до сих пор, что Сталин делал для страны и народа только хорошее — и так, как надо было и тогда, и поныне...

Роман «Дети Арбата» должен прочесть каждый. Книга эта не просто открывает глаза на тягостную реальность недавней нашей истории — она не позволяет больше отводить их в сторону от этой реальности, рассказывая правду о сталинской эпохе—продолжая великое дело XX партийного съезда, осмысливая пути, по которым пришли мы в сегодня.

«Он стал вождем не потому, что ему удалось разгромить своих противников. Он разгромил своих противников потому, что он вождь, именно он предназначен вести эту страну. Его противники не понимали этого и потому были разгромлены, они не понимают этого даже сейчас и потому будут уничтожены. Неудачливый претендент — всегда потенциальный враг.

История остановила на нем свой выбор потому, что он единственный владеет секретом верховной власти в этой стране, единственный знает, как руководить этим народом...

История — великий режиссер. Она вовремя увела Ленина и дала нового вождя, который поведет Россию по истинно социалистическому пути. Для этого потребуется еще не одна революция. Одну революцию, не менее значительную, чем Октябрьская, он уже свершил — ликвидировал индивидуальное сельское хозяйство, ликвидировал кулачество, ликвидировал самую возможность фермерского пути развития деревни. При этом погибли миллионы людей — история ему это простит. Он совершил и вторую революцию — поставил Россию на путь промышленного, индустриального развития, превратил ее в современное, промышленное, могучее в военном отношении государство. Дорогой ценой превратил, много жизней на это ушло — история простит это товарищу Сталину, история не простила бы ему, если бы он оставил Россию слабой и беспомощной перед лицом ее врагов. Теперь надо создать новый, особенный аппарат власти. И уничтожить старый...»

Ленин в начале 20-х годов видел проблему построения социализма в России в необходимости «целого переворота, целой полосы культурного развития всей народной массы», для чего «требуется целая историческая эпоха».

Сталин в конце 20-х годов произвел переворот на собственный лад. Отбросив необходимость «целой исторической эпохи», он поставил целью в кратчайшие исторические сроки создать мощную социалистическую державу, построить государство нового типа. Он спешил, он торопился: именно они должны были успеть стать памятником — вечным памятником именно ему; должны были связываться именно с его именем. Ради этого он оказался готовым на все.

...Фигура вождя возникает у Рыба-

кова уже на первых страницах романа.

Только что мы познакомились с Сашей. Тут же его проработали на институтском партбюро за «проповедь аполитичности науки». Вот он уже дома, а здесь брат матери, тридцатипятилетний дядя, Марк Александрович Рязанов, один из командармов промышленности, приехал по вызову Сталина. Теперь мы с ним в Наркомтяже, у Будягина, зама Орджоникидзе, и Марк рассказывает ему про Сашин случай:

«— Но я его не отдам на растерзание. Нельзя калечить ребят, они только начинают жить.

— Такое происходит сейчас не только с твоим племянником,— сказал Будягин».

И вот — кабинет Сталина, прямой, откровенный («Я не технический авантюрист») разговор руководителя завода-гиганта с вождем: «Вы честно сказали. Нам не нужны коммунисты, которые обещают все что угодно. Нам нужны те, кто говорит правду».

Образ, рисуемый в первой же этой сцене, а затем все масштабнее и глубже разворачиваемый на всем романном полотне, воистину открывает, что характеристики «великий», «гениальный» по отношению к Сталину абсолютно справедливы. Это действительно был гений политической игры, великий талант разделять и властвовать. Как никто, он был способен, когда это становилось насущным, развернуться, обоpотиться в другую, в противоположную сторону, обернуться другим человеком...

«Многие хотели бы видеть его, Кирова, на посту Генсека — ему это не нужно, не по плечу, он не теоретик, он практик революции». Другое дело — Сталин: «Он знает секрет власти. Его упрощенная семинаристская логика, его семинаристский догматизм понятны и импонируют людям. Он сумел внушить народу убежденность в своем всеведении и всемогуществе. Народу нравится его величие, нравится, что после стольких лет разрухи, гражданской войны, внутрипартийной борьбы наступил порядок, этот порядок он отождествляет со Сталиным. Изменить что-либо уже невозможно. От сознания собственного бессилия Кирова охватывало отчаяние».

Отчаяние! — ибо ни социализм, ни даже государство, ни партия и народ, ни тем более люди, человек сам по себе не были во главе помыслов товарища Сталина.

«— Так вот,— внушительно сказал Сталин,— имейте в виду: товарищу Сталину все МОЖНО говорить, товарищу Сталину все НУЖНО говорить, от товарища Сталина ничего НЕЛЬЗЯ скрывать. И еще: от товарища Сталина НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНО СКРЫТЬ. Рано или поздно товарищ Сталин будет знать правду». (Еще бы! С таким-то партийным аппаратом, который «должен контролировать все аппараты страны, в том числе и народнохозяйственный, и прежде всего аппарат промышленный, располагающий наиболее самостоятельными, образованными и чванливыми кадрами»; с таким-то специфическим аппаратом органов безопасности, которые «на местах все более становятся независимыми от местного партийного руководства, подчиняются только центру, проникают во все звенья государства, главное их орудие — осведомительство, даже коммунистов заставляют следить друг за другом»; с таким-то Ежовым, которого «в 1930 году ОН сделал заведующим отделом кадров ЦК», который «не рассуждает, а действует, свободен от всякого нравственного тормоза, от этических условностей»...)

Так вот, есть правда — и правда: вы слышите, вы ощущаете разницу между тем, как говорил о ней Сталин с Рязановым («нам нужны те, кто говорит правду»), и тем, чего на самом деле желает товарищ Сталин? Она нужна ему, для него единственного — против любого и каждого, против всех остальных...

Такой прием неоднократного, с разных, часто противоположных точек зрения возвращения к одним и тем же мыслям и мнениям, фактам и поступкам пронизывает роман. Писатель не дает ни единой детали, ни какой-либо заметной характеристики, чтобы не вернуться к ним вновь, не сопоставить их — впрямую или весьма отдаленно, в расчете на внимательного читателя. Описывая обыденную жизнь, трагические судьбы, изощренное интриганство вождя, он все их прорезает молниями «странных сближений», отчего характер времени и характеры героев романа высвечиваются резко, объемно, часто неожиданно по-новому. И главный успех писателя — образ Сталина.

Рыбаков рискнул проникнуть в душу и ум, в которые до него войти не решались. Были зарисовки действий этого загадочного Хозяина, были комментарии к ним и его словам — но не более. Рыбаков объяснил мотивы поведения, дал толкование известным фактам и словам, раскрыл тайну — и Сталин впервые в нашей литературе обрел плоть, развернул помыслы, предстал живым человеком, а не величественным манекеном во френче и сапогах вождя. Рыбаков сумел убедительно воплотить интонацию сталинского разговора и мыслей,— и хотя, в общем, язык романа не слишком выразителен, но писателем счастливо найден ритм, характерный тон, который, может быть, идет как раз от манеры раздумий главного героя.

...Живым, доступным человеком предстал Сталин Марку Рязанову — и тот навсегда воодушевлен, обращен и теперь неуклонно пойдет за Сталиным.

Еще более живым, даже ранимым, но совершенно другим узнает Сталина за более чем двадцать лет их знакомства (еще по ссылке) Иван Григорьевич Будягин — и он решится столь же непреклонно бросить ему вызов (и тем самым обречь себя).

«Все было понятно, пока Будягин боролся против самодержавия. Революция тоже ясна — конечная цель их борьбы, победа их идеи. Крайности неизбежны — ярость народа обрушилась на вековых угнетателей, революция защищалась.

Кончилась гражданская война, все стало на свое место. НЭП означал не только новую экономическую политику. Возникал новый уклад жизни. Однако то, что намечалось Лениным «всерьез и надолго», продолжалось совсем недолго. Сталин ликвидировал НЭП, утверждая при этом, что выполняет заветы Ленина. Он любил клясться именем Ленина, ссылаться на него. Хотя еще в Сибири говорил Ивану Григорьевичу, что Ленин недостаточно знает Россию, потому и выдвинул лозунг национализации земли, за которым, как утверждал тогда Сталин, крестьянство не пойдет. А в Царицыне он же внушал лично ему, Будягину, что Ленин мало разбирается в военных делах. Но значение Ленина, его роль в партии Сталин понимал всегда и никогда открыто ему не оппонировал. Когда в итоге оказывалось, что Ленин прав, а он всегда оказывался прав, Сталин объявлял себя его единомышленником, без колебаний проводившим политику Ленина. Он и теперь на каждом шагу клянется Лениным, представляет себя чуть ли не инициатором и вдохновителем ленинских решений. Однако вместо социалистической демократии, которой добивался Ленин, Сталин создал совсем другой режим» (разрядка моя.— Д.И.).

В условиях этого режима в душах большинства других героев романа с необходимостью происходят крутые перевороты.

Перевернется душа молоденькой девчушки Вари Ивановой, когда она вдруг увидит прямого, справедливого Сашу Панкратова, покорно отправляющимся ни за что (!) в ссылку. И труден будет ее путь обретения наново независимости, достоинства.

Перевернется душа Сашиной матери, и робкая, покорная Софья Александровна скажет своему влиятельному брату:

«— Если бы царь судил вас по вашим законам, то он продержался бы еще тысячу лет...

Он ударил кулаком по столу.

— Что ты мелешь?! ...Да, у нас диктатура, а диктатура — это насилие. Но насилие большинства над меньшинством. А при царе меньшинство подавляло большинство, поэтому царь и не смел применять тех крайних мер, которые применяем мы во имя народа и для народа...

— ...Не грозись, я ничего не боюсь, хватит, боялась, довольно! Всех не пересажаете, тюрем не хватит... «Ничтожное меньшинство»... Поворачивается язык!.. Подняли меч на невинных, на беззащитных и сами от меча погибнете!»

И, конечно, в первую очередь переворачивается Сашина душа — душа обыкновенного, но стойкого, сильного, самостоятельного парня, человека из самой середины, сердцевины, гущи народной, вынужденного проходить суровое испытание в историческом противостоянии. Но не Саша противник Сталина, а Сталин противник Саши. На одном полюсе романа — народ в лице Панкратова и многих его друзей и знакомцев, на другом оказываются вождь, который мерит народную судьбу «миллионами», и взращенный им «особенный аппарат власти».

Панкратов сохранит достоинство, выстоит в этой схватке. Но сколько других приспосабливалось, искало в ней выгоду для себя, сколько было перевертышей... У Рыбакова это прежде всего Юрий Шарок (и как ни странно — это самый плоский, самый неинтересный характер книги), Вика и Вадим Марасевичи, тот же Костик, который сбил с панталыку Варю Иванову... И на верхних этажах жизни — то же:

«Вышинский? Законченный негодяй. Всю жизнь был меньшевиком, понятно, в меньшевиках можно дéла не делать, только краснобайствовать. В 1908 году на Балаханах в Народном доме организовали суд над бакинскими зубатовцами — Шендриковыми. Кто выступил в их защиту? Вышинский. За одну ночь пять раз выступал, так упивался своим ораторским искусством, демагог, крючкотвор! Летом семнадцатого был в Москве начальником Арбатской милиции, вывесил на стенах приказ о розыске и аресте Ленина и подпись свою, дурак, поставил: «А. Вышинский». После Октябрьского переворота добился у НЕГО приема, каялся, плакал. Но ни единым словом не обмолвился о том, что делился с ним передачами в Байловской тюрьме, где они сидели в одной камере. Понимал, с КЕМ разговаривал, понимал, что такого напоминания ОН бы ему не простил, что в обмен на эти жалкие передачи получает жизнь. В 1920 году ОН помог ему вступить в партию, в 1925-м — стать ректором Московского университета, в 1931-м — прокурором РСФСР, теперь Вышинский заместитель Генерального прокурора СССР...»

И все это хитросплетение многих и многих жизней, существований и борьбы героев и подонков в романе Анатолия Рыбакова искусно сплавлено, слажено. Именно соразмерность всех этих существований обеспечивает подлинно высокое единство жизненной и художественной правды в книге, являющейся откровением и открытием наших дней.

Да, но могут сказать: «Соразмерность!» — а где же в «Детях Арбата» энтузиазм строителей новой жизни, где они сами? Они же были! И имя им — миллионы.

Да, миллионы. И среди «детей Арбата» их тоже немало: сестра Вари Нина Иванова, Максим, Серафим. А самый яркий, энтузиаст из энтузиастов — Марк Рязанов. А если в романе он кем-то не воспринимается привычным олицетворением своей эпохи, так оттого, что привычнее (и спокойнее) встречаться с картинами энтузиазма трудового — самоотверженного и нерассуждающего. Он и наглядный, и убедительный, и вдохновляющий.

Но вот читаю уже упоминавшуюся мной повесть С. Антонова «Васька» об ударниках из ударников — первостроителях столичного метро,— и вопросы, вопросы, вопросы... Ведь это даже не смех сквозь слезы, а, считай, слезы сквозь смех.

«...В 1932 году началось удивительное строительство, не имевшее ни смет, ни проекта, ни специалистов. На стройку брали, как на войну: и металлистов, и колхозников, и пекарей, и циркачей, и кубовщиц, и текстильщиков, и адвокатов, и котлоскребов, и наборщиков, и официантов, и скорняков, и чекистов, и мебельщиков, и банщиков. Одним из бригадиров-проходчиков оказался бывший помощник директора кинофабрики — по производственным совещаниям. Не хватало ни машин, ни материалов. Истощенные карьеры не имели ни подъездных путей, ни освещения. Комиссия, состоявшая из главных инженеров, делила каждую платформу гравия по участкам. Воздвигали башни копров и копали шахты, еще не зная толком, где пройдет трасса. Приказ о том, чтобы обеспечить метро мрамором, снабженцы получили за два месяца до конца работ. А мрамор поддается распилу на три сантиметра в час...»

Неважно! Главное, что 15 мая 1935 года эти дворцы распахнули свои двери, да и сегодня мы продолжаем любоваться ими.

Нет, важно! Очень важно... Во-первых, не было нужды «воевать» эти дворцы, не задумываясь о приносимых им жертвах. А главное,— и раз и два выехав на энтузиазме, оказалось соблазнительным, показалось более дешевым, входило в привычку строить, возводить, вершить ценою «миллионов», в том числе и миллионов энтузиастов...

Повесть С. Антонова (давняя, кстати, повесть, написанная еще в 1975 году) — еще один камень в основание сегодняшнего переворота от вчерашних привычных воззрений и убеждений, расставаться с которыми приходится тоже нелегкой ценою.

ПЕРЕЛОМ



Вот и в описании эпохи коллективизации самым привычным было отражение остроты классовой борьбы в деревне тех лет.

В «Поднятой целине» Давыдов говорил:

«С хлебом трудности оттого, что кулак его гноит в земле, у него с боем хлеб приходится брать! А вы и рады бы сдать, да у самих маловато. Середняцко-бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь...» И еще: «Кулак вампир засосет его в доску» — его, то есть трудящегося крестьянина.

Эти слова согласно процитировал только что («Литературная Россия», 22 мая) Ф. Бирюков в статье «Великая правда», хотя сам же приводит расклад по Гремячему Логу, типичный расклад: здесь 32 бедняцких хозяйства, 5 кулацких и 217 середняцких. Как видим, такое классовое расслоение к обострению борьбы не толкало, не вело. А как пишет сегодня знаток истории сельскохозяйственной экономики, академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов, «более 80 процентов валового урожая, три четверти всего товарного хлеба в те времена благодаря ленинской нэповской политике давал уже середняк с небольшим количеством кооперативов и государственных хозяйств».

Спустя 30 лет после Шолохова в повести «На Иртыше» Залыгин уже сочувственно объяснял мотивы, по которым «довыявленный кулак» Чаузов не хочет дополнительно отдать свой хлеб колхозу. Но и тут еще Ю-рист, другой герой и выразитель авторских мыслей, говорил: «На месте мы стоять не можем. Остановимся — мировой капитал и собственный наш нэп тотчас нас назад отбросят... Так история нам говорит».

Однако подлинная история свидетельствует о другом: именно нэп, задуманный «всерьез и надолго», именно продовольственный налог возродили молодую Советскую республику к новой жизни и вместе с ленинским кооперативным планом давали ей великий, невиданный шанс перед Историей.

Вот что писал в 1925 году М. И. Калинин: «Если говорить правду, не подделываясь к бедняку, то увеличение производительных сил в деревне есть единственный способ улучшения положения маломощных. Ясно, что насильственная борьба с расслоением, поскольку она будет тормозить увеличение производительности, экономически вредна и политически бесцельна».

А вот что в 1926 году говорил Ф. Э. Дзержинский: «Вся беда кроется в раздутых штатах, в нашем бюрократизме. Эти недостатки мы должны стремиться переделать. Вот именно здесь, Каменев, кроются те миллионы, которые вы напрасно ищете и хотите брать у мужика».

Но вот что констатирует сегодня историк, говоря о последнем периоде 20-х годов: «В выступлениях И. В. Сталина того времени можно четко проследить логику его политики по отношению к крестьянству, которую он и не считал нужным вуалировать: стране нужен хлеб; этот хлеб теперь — у среднего крестьянина. Крестьянин согласен отдать хлеб только в обмен на промышленные товары, которых у государства пока нет. Чтобы иметь их, надо развивать промышленность, а для этого нужен хлеб. Замкнутый круг! И надо разорвать его. Как? Мы не можем за бесценок взять хлеб у крестьянина, но можем взять его, как показывает опыт, у колхоза. Значит, надо не медля объединить крестьян в колхозы. По отношению к тем, кто сопротивляется, применить антикулацкие законы, для чего подвести зажиточных крестьян под категорию кулака».

...Все это я цитирую из предисловия и авторского послесловия ко второй книге романа Бориса Можаева «Мужики и бабы» («Дон», №№ 1—3), рассказывающей о последних месяцах 1929-го и самом начале 30-го года: времени, когда в директивном порядке была объявлена и любыми средствами проводилась в жизнь «линия на сплошную коллективизацию».

Те, кто читал первую книгу романа, выпущенную в 1975 году (вторая была завершена еще в 1980-м и семь лет дожидалась увидеть свет), должны помнить эпиграф: «С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно...» Эта отрада, довольство тем, как складывалась сельская жизнь, довольство плодами кооперативной политики, действительно полнившимся крестьянским гумном,— даже переполняли можаевское повествование. Роман впечатлял картиной вольной жизни народа, своей властью и своими руками прокладывающего дорогу к новому, светлому... Правда, уже тогда появлялось все больше тех «многих», кому эта «отрада» была «незнакомой» и даже враждебной.

Вторая книга «Мужиков и баб» рисует их уже забравшими всю власть в свои руки и ведущими яростное наступление не против классового врага, не только в противоречии с коренными интересами партии и государства, но против всей народной жизни. И это уже не роман, а «роман-хроника». Если в первой книге била ж и з н ь с ее привычным трудом до седьмого пота, нелегкими заботами, смертями и праздниками, немудреным весельем и истинной скорбью, то новая книга Можаева предстает хроникой н е ж и з н и.

Происходит п е р е л о м...

Вот уезжает, бежит от «твердого задания» семейство бывшего помещика Скобликова,— ну да ладно, это «бывшие». (Хотя вот ведь как уже тогда вопрос ставился: «Больше продавать нечего. Не внесешь — выселят. Да еще посадят. Читаешь небось газеты? В Москве, в Ленинграде требуют выселять. Вот, из колхоза «Красный мелиоратор» вычистили двадцать пять семей. Из домов выселяют... Да что там колхозники. Фофанову, у которой Ленин скрывался в семнадцатом году, обозвали гадкой птицей дворянской породы, посадили...»)

Вот и тут, в Тиханове посадили: священника и бедняка Сергана, обозлившегося на несправедливость. А когда «вычищали» одного кулака, четверых его детей да стариков выселили в чисто поле.

Затем обложили новым индивидуальным налогом, причислив к кулакам, трудяг из трудяг Алдонина и Клюева. А когда пришли конфисковывать клюевское хозяйство, когда дошло до бабских слез и воплей, Клюев навернул одному шкворнем, сам в милицию отправился.

Затем Ванятке Бородину, записавшемуся в колхоз, подчистую все яблоньки подрубили. Затем в Тиханове «вредителей» сыскали. А затем... затем... затем... И дошло до того, что в февральские дни, когда к двадцатому числу надо было — вынь да положь — выполнить установку, «директиву правительства»: лошадь и корову под крышу колхоза! — начались тогда бунты, начали бить и стрелять с обеих сторон, и не стало лучших людей, цвета тихановской округи — Озимова и Успенского...

Не стало этих жизней, жизней многих других сельских жителей, не стало житья вообще — живая жизнь просто иссушается во второй книге романа Можаева. Зажатая в эти пять трагических месяцев, она подневольно сушит и саму ткань хроники, весь строй и язык романа. Их требуется читать вместе, вторую и первую книги разом, чтобы увидеть этот невольный, разительный контраст, чтобы возникло от романа подлинное, цельное впечатление.

Три коренных вопроса исследует Можаев.

На первый он дает однозначный ответ: «великий эксперимент — в считанные недели добиться всеобщего счастья за счет имущественного уравнения крестьян» вылился в «головокружение от успехов, то есть голое озорство, перегибы и вредительство», на долгие годы обернувшиеся неисчислимыми утратами для страны и народа. И единственный здесь вывод — тот, который давно был сделан Лениным: «Нет ничего глупее, когда люди, не знающие сельского хозяйства и его особенностей... считают себя во всем учителями крестьян... Задача здесь сводится... к тому... чтобы учиться у крестьян способам перехода к лучшему строю и не сметь командовать!»

Вопрос второй: исторические корни на русской почве этих псевдореволюционных, максималистских методов, этого нетерпения приблизить великую социальную цель. С одной стороны: «чудо подай, чудо! Раздва — и в дамках!» — а с другой: «Если цель — прогресс, а прогресс бесконечен, как вы говорите, то для кого мы работаем? Что мы скажем тем, кто истощил свои силы в работе? Что после их смерти на земле будет лучше? И заставим других встать на их место и тянуть ту же лямку?..»

Писатель предъявляет строгий счет той части русской интеллигенции и ее вожакам, «которые меньше всего думали о практической пользе; они как раз презирали эту теорию малых дел, они и погубили ее... Они вообще меньше всего задумывались над реальной пользой постепенного улучшения жизни народа. Именно их и боготворила определенная часть русской интеллигенции, более шумная часть, более назойливая. О ней-то я и говорю. Ей все враз хотелось перевернуть кверху дном. Я имею в виду ту самую нетерпимость, бесовскую наклонность к неприятию добрых начал в реальной жизни...»

Наконец, вопрос третий — и основной: во имя чего был свернут ленинский кооперативный план, а заодно пущена на слом русская крестьянская община с ее трудовой взаимопомощью и во многом справедливым нравственным укладом,— во имя требований Истории, во имя индустриализации, чтобы нас не смяли через десяток лет,— или во имя спасения «аппарата, который,— по словам Ленина,— никуда не годится и перенят нами от прежней эпохи»: «испугались переделки аппарата, боитесь, как бы вас не заставили работать, а вы привыкли командовать...»

В романе Можаева этот вопрос остается открытым. Думается, роман Рыбакова тоже еще только намечает пути его решения.

Вопрос ждет...

ПЕРЕВАЛ


рошло девятнадцать лет. За это время социализм доказал свою великую силу, разгромив в смертельной схватке фашистское нашествие, и, выйдя из войны еще более окрепшим, возрождал страну. Как никогда сплоченные, наши люди отдавали себя героическому труду, но по-прежнему делать это им приходилось в условиях «совсем другого режима».

Об этом еще в 1956 году, сразу после XX съезда партии, Владимир Дудинцев написал свой первый, знаменитый роман «Не хлебом единым» — о том, что недемократичный, бюрократический аппарат, отсутствие подлинной соревновательности и гласности, «переведение в идеологическую плоскость» научных споров и столкновений технических решений ведут к огромным потерям для государства и калечат судьбы наиболее талантливых и честных.

Увы, за тридцать последовавших лет проблема эта не только не перестала быть животрепещущей, но и приобрела просто исключительное для развития нашего общества значение. После выхода романа самому Дудинцеву пришлось, подобно своему герою Дмитрию Лопаткину, полной мерой испить чашу гонений и непонимания, пройти такие огонь и воду, что никакими медными трубами их не компенсировать. Но писатель оказался истинно стойким — и вот теперь к читателю приходит его новый роман «Белые одежды» («Нева», №№ 1—4), возвращающий в то же время, к тем же кардинальным противоречиям.

На этот раз Дудинцев взял не вымышленный сюжет, а положил в основу книги подлинную историю беспрецедентной травли передового отряда ученых-биологов.

Лопаткин не знал, кому и чему он бросает вызов. Он был не просто уверен в своей правоте, он был полон веры в поддержку со стороны общества и в одиночку ринулся пробить брешь, сломать целую махину, лишь бы страна могла воспользоваться его изобретением.

Генетики знали, на что и против кого они идут, защищая свое научное знание. Можно вспомнить недавно услышанные слова, произнесенные Д. В. Лебедевым, одним из славной плеяды творцов генетической науки: «Позиция настоящих генетиков — это была единственная тогда оппозиция Сталину. Это была настоящая политическая борьба».

Безумство храбрых, безумство добрых! — вот что воспел Дудинцев в «Белых одеждах».

Осень 1948 года. (Все три романа, кстати, начинаются одними и теми же октябрьскими днями и завершаются в разгар зимы — «оттепель» еще далеко впереди. И недаром все три романа имеют эпилоги или послесловия, эту весну — и даже лето — воплощающие или предрекающие.) Только что прошла знаменитая сессия Академии сельскохозяйственных наук, учинившая «теоретический» разгром одного из основополагающих и перспективнейших разделов биологической науки — генетики,— и начало романа совпадает с началом соответствующих оргвыводов. Для проведения их в жизнь в областной сельхозинститут прибывает тридцатилетний кандидат наук Федор Иванович Дежкин — ставленник «народного академика» Рядно (прообразом которому послужил мрачной памяти Т. Д. Лысенко). Но как раз в этот момент Дежкина охватывает сомнение в правоте умозаключений своего наставника, и он делает решительный поворот от веры к знанию...

Недавние документальные повествования Д. Гранина и В. Амлинского рассказали, как и с кем поименно происходило все это в действительности. Дудинцев воспользовался реальными коллизиями, и основную линию романа составляет держащая в постоянном напряжении, почти детективная история спасения выведенного генетическим способом выдающегося по своим качествам сорта картофеля.

Но главный интерес для писателя составляет воплощение в е ч н о г о противостояния добра и зла. «В романе «Белые одежды»,— поясняет Дудинцев,— я хочу сорвать маски, под которыми прячется зло. Поразить его в самое чувствительное место... Ведь невозможно спокойно видеть тех, кто умеет совлечь с увлеченного большим делом человека его сияющие одежды, кто залезает в них сам и щеголяет, обманывая других своей заимствованной привлекательностью и громкими словами».

Можно сказать, что Рыбаков делает то же самое на примере конкретных исторических лиц, а Можаев—на примере конкретных исторических воззрений. Дудинцев же находит им олицетворение в участниках баталий вокруг генетики.

В «Белых одеждах» зло по-прежнему занимает более могущественные позиции, ведет бой с правого, как символически рисует писатель, с высокого берега.

«Добро — это страдание»,—говорит писатель. Во все времена люди, отстаивающие добро, должны были брать на себя этот крест. В «Белых одеждах» защищают добро самые дорогие Дудинцеву герои—прозревшие и прозревающие, люди на п е р е в а л е.

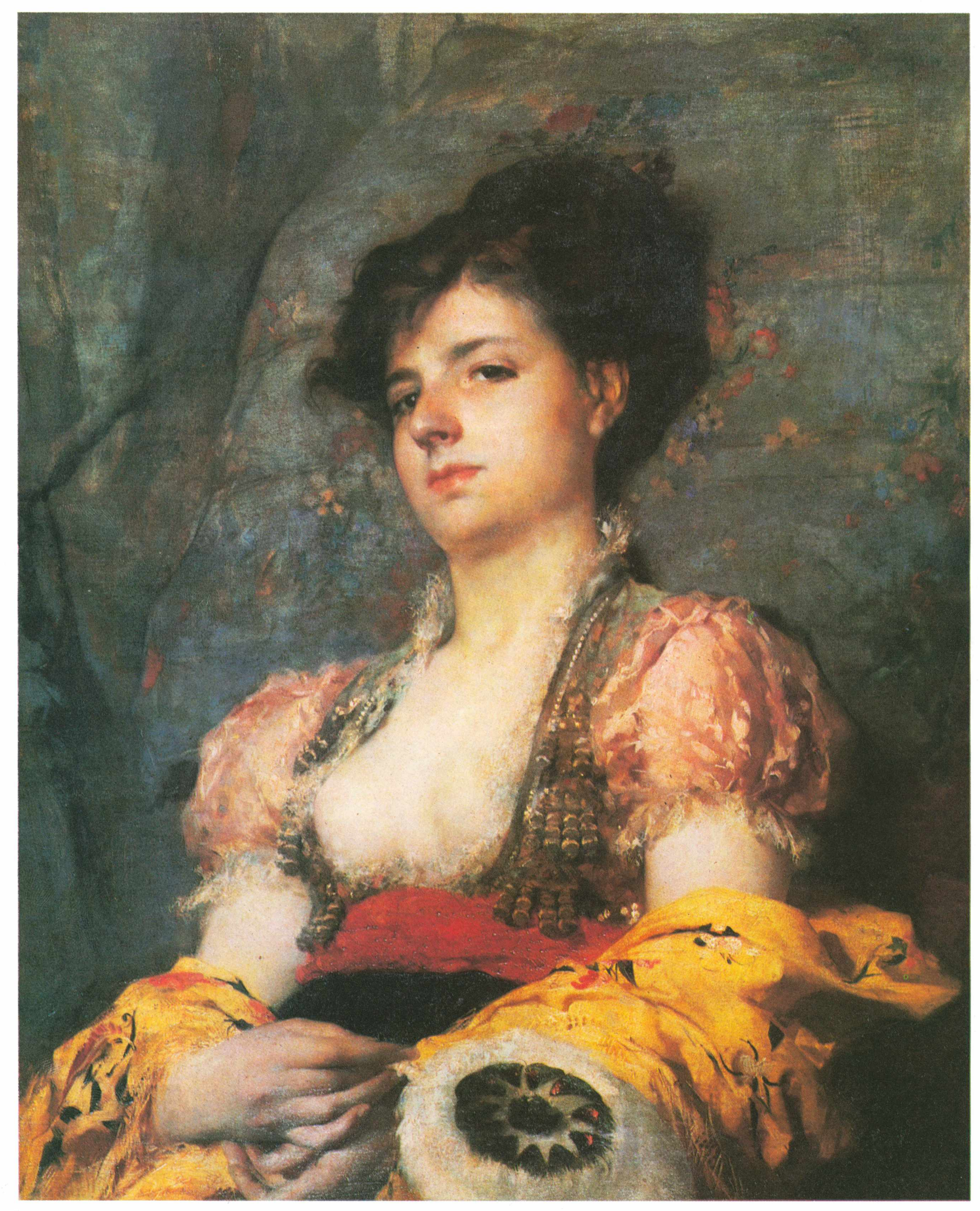
Зло в романе материализуется прежде всего в академике Рядно, «сыне беднейшего крестьянина», а по сути и духу — кулака, ибо «кулак — это качество личности. Это паразит, надевший самую выгодную для своего времени маску». Вот и Кассиан Дамианович (бывший Касьян Демьянович) использует свои остроумно-абсурдные псевдонаучные, льстящие и власти, и массе построения, чтобы ввести в заблуждение, набить себе цену, а заодно любым способом воспользоваться чужим, но истинным достижением.

А рядом с этим главным ряженым — мощная когорта его вольных и невольных приспешников.

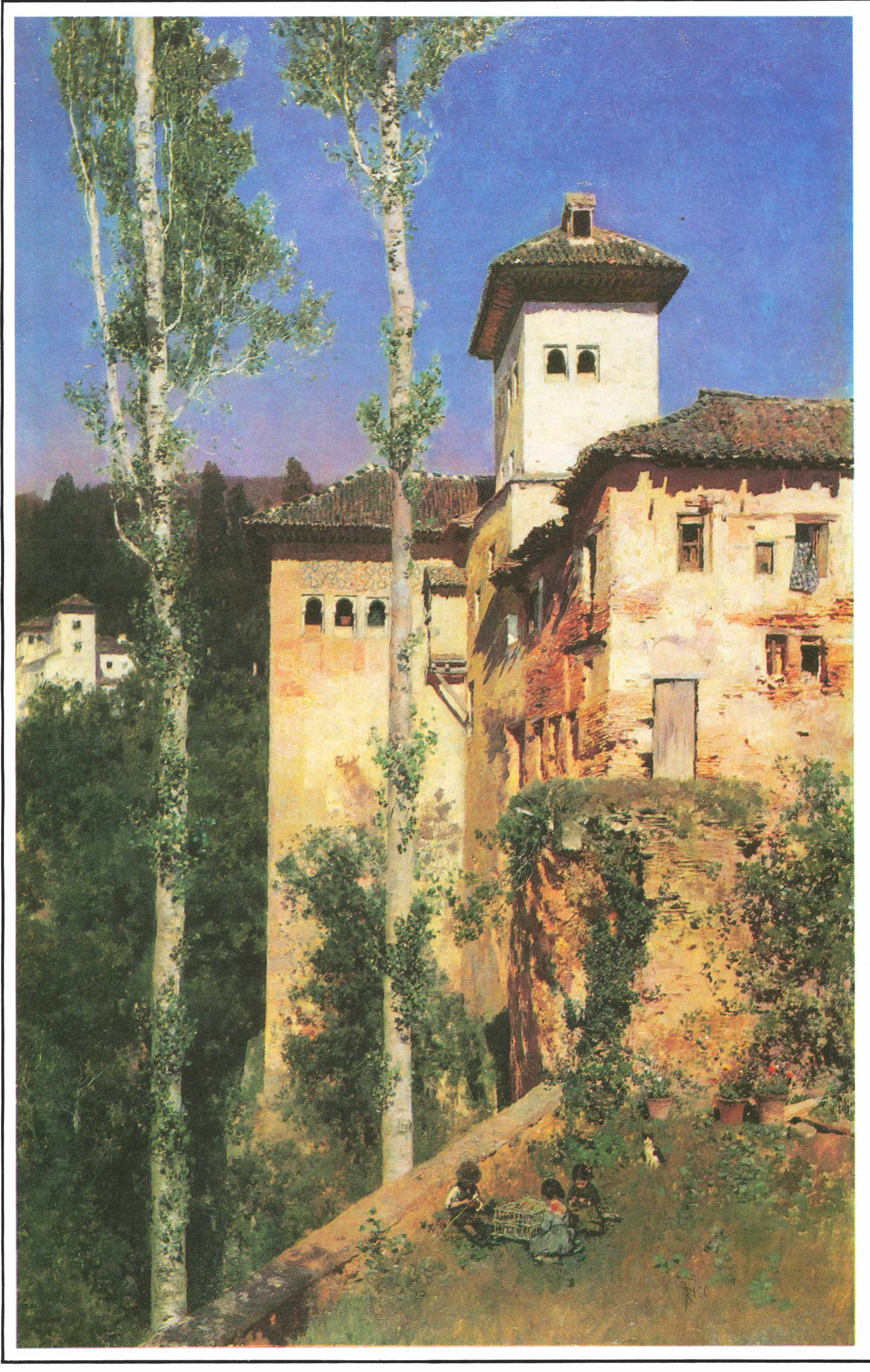
И где-то поблизости — еще генерал соответствующего ведомства Николай Ассикритов, только и ждущий, чтобы Рядно отдал ему «чувствительно посечь» тех, кто станет оспаривать «народного академика».

«...Это перешло к нам,— говорит один из «добрых» героев романа,— не от капитализма, а от человека. А разговоры о капитализме только помешали нам его вовремя остановить... Все туда велели смотреть, за рубеж. Или на царя оглядываться. Только не внутрь себя... И Касьян, и мой Коля прилетели к нам из своего собственного внутреннего пространства, переполненного завистью. Завистью и мечтой о власти».

Думается, Дудинцев мечтал воплотить в этих образах все оттенки зла, развитого или порожденного той эпо-



ХОСЕ КАСАДО ДЕЛЬ АЛИСАЛ. 1832—1886. ДАМА С ВЕЕРОМ.



МАРТИН РИКО.
1833—1908.
БАШНЯ ДАМ
В АЛЬГАМБРЕ.

хой, а в иезуитском характере Рядно, в этом *оборотне*, писателю, быть может, виделась возможность провести параллель, дать ясный намек на фигуру державного покровителя Касьяна,— поразить зло «в самое чувствительное место». Ведь в отличие от Рыбакова, который впервые не побоялся и смог назвать все своими именами; в отличие от Можаева, который воссоздает время, когда еще не боялись называть все своими именами вслух, Дудинцев описывает годы, когда происходившее называть своим именем не было никакой возможности, когда *перевал* еще даже не начинал брезжить, когда люди очень осторожно шли друг другу навстречу и искали для этого особых слов... Вот почему, вероятно, в романе столько самой разнообразной символики.

Правда, часто она достаточно наивна, знакома, прямолинейна в своих настойчивых и даже назойливых параллелях.

Но вместе с тем символическое претворение действительности составляет яркую, органичную особенность романа,— равно как и обязывающая перекличка с вечными образами и образцами, на которую Дудинцев смело решился в желании открыть новые, современные повороты в вечных ответах на вечные вопросы. Хотя, повторюсь, в попытках этих открытий главные «добрые» герои «Белых одежд» несколько однообразно следуют друг за другом.

И все равно — новая книга Дудинцева получилась значительной. Ее явление стало бы значительным еще более, если б встреча читателей с романом смогла состояться раньше.

...Кстати, и все названные здесь книги пришли к читателю с внушительным опозданием. На печальном этом, но, к большому сожалению, тривиальном пока факте можно было бы и не заостряться, если бы волна сдерживания интереса к достойным литературным фигурам и произведениям отхлынула окончательно. Несомненно, при определении этих достоинств необходимы «четкость критериев, точность оценок, чувство меры и такта», как об этом напомнил только что Олег Михайлов в статье «Далекое близкое» («Литературная газета» от 8 июля). И никто, в том числе и автор недавнего огоньковского обзора «Закон выпрямления гвоздя», ни в коем случае не призывает «к анархической вседозволенности и полному отказу от любых принципов и критериев отбора», чему в названном обзоре есть и соответствующий пример. Так что упрек О. Михайлова некорректен и не по адресу направлен... Действительно, прежде всего надо, как призывает и О. Михайлов, все-таки верить «в зрелость нашего читателя», а не оглядываться вновь и вновь, как делает «Литературная газета», на «обывательскую сенсационность» (так ведь можно невольно посеять и сомнения в подлинности этой «зрелости»). Далекое близко О. Михайлову, однако память у него оказалась удобно короткой: когда он сам в 60-е годы был в числе первооткрывателей творчества Бунина, сколько «сдерживателей» говорило буквально его же нынешними словами, чтобы бросить тень на его деятельность и способствовать затянувшемуся до сей поры пребыванию «богатыми в бесхозной бедности нашей!..».

* * *

Прочитаны новые книги о прошлом.

И теперь станет возможным писать по-новому о новом, о сегодняшнем,— когда по-новому сказано о старом.

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ

Александр КУШНЕР

* * *

Как мальчик, волнуясь, читает письмо
От девочки, так мы сегодня газеты
Читаем, как если бы время само
Проветрило комнаты и кабинеты.

Московские новости... Знали бы вы,
С каким напряженьем их ждут в Ленинграде.
О шорох газетный, ты шелест листвы
Собой затмеваешь, шуми, бога ради!

Так долго мы жили погодой одной,
Лишь в шелесте лиственном смысл находили,
Но я — человек, а не иволга, мой
Ум жаждет вестей, кроме влаги и пыли.

И Тютчева я понимаю: тесны
Ему одинокие вечные темы.
Мне полночи мало, мне мало весны,
Есть область, где жизнью захвачены все мы.

Покуда болтун в ней кипел и ловкач,
Казалось, что нету меня холоднее,
Но это неправда: я втянут, горяч.
Так ты и с политикой дружен? И с нею!

* * *

В сад через ржавую входишь калитку,
Что этой почвы в изломах мертвей?
Бог виноградную создал улитку,
Чтобы нам опыты ставить на ней.

По изможденной земле, по изрытой,
В трещинах, комьях — так трудно ползти.
Всякая тайна мечтает раскрытой
Быть, запираясь, хандрит взаперти.

Кто ты? Биолог? Экспериментатор?
О, ради бога, возьми ее в дом,
В лабораторию: в ней медиатор
Празднует тайную встречу с белком.

Грустно мне, весело думать мне, дико,
Лестно и странно о нашем родстве
С этой безмозглой; прообразом тика
Нервного — щупальца на голове

Чуткие... Что ж, и любовь, и обида —
Все это химия? О, не грусти:
Для вразумленья любимого вида
Богом подкинута здесь на пути.

* * *

Сколько веков пронеслось и еще после нас пронесется...
Римского автора я неизвестного вспомню в Крыму.
«Ежели в этом саду ты поставишь ведро из колодца
Наземь, то негде стоять будет тебе самому».

Ну что с того, что ноги ледяная касается дужка?
Важен зато и тенист широколистый инжир.
Я и в стране бы такой не скучал — хорошо раскладушка
Прячется в тень, а с нее видно море и горы... весь мир.

В юности нравится нам бесконечность пространств... Замечаю,
Что, подрастая, душа к почвам возделанным льнет,
Труд начинает ценить, культиватор, прижатый к сараю,
Розу махровую, мысль и овец тонкорунных пород.

Тешат меня две строки позабытого автора... Страшно
Вспомнить, как низко цена падает вдруг на людей
Там, где не считан простор, где метель завывает протяжно...
Зарифмовать бы, обжить, ублажить эту глину скорей!

* * *

Читая Набокова, думал о том,
Что слишком счастливое детство опасно:
За дом петербургский заплатишь потом
Изгнаньем и бедностью; многообразно
Несчастье; за синий биаррицкий пляж,
За вид из окна на Большую Морскую,
За взятый с витрины гигант-карандаш —
Бездомную вытянешь долю чужую.

И Трифонов нам рассказал о своем
Привилегированном детстве и доме
С вахтером в подъезде, с балконным окном
На звезды в рубиновой сладкой истоме,
Мы знаем, чем кончилось это... нет, нет,
Не надо казенной машины и дачи;
И разве ребенок, купивший билет
В кино, не счастливее всех и богаче?

* * *

«...Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба...»
О. Мандельштам

Не слишком сложен был профессорский вопрос
На зимней сессии, всего лишь об Эсхиле.
Закинув голову, студент молчал. Стрекоз
Таких же пасмурных сухие связки стыли

На даче, в августе, под Петербургом. Взгляд
Был в потолок лепной таинственно нацелен.
Молчанье странное. Ответить невпопад,
Забыть, запутаться? И каждый день смертелен.

И то сказать, поэт совсем не эрудит,
Он перелистывать скорей умеет книги,
Чем их прочитывать. Но рифму убедит,
И в ритме паузы так хороши и сдвиги.

Надменность дикая и взгляд поверх голов.
Поднялся, прочь пошел, к сырым пальто и шубам.
Когда-то жил уже, дружил во тьме веков
С Эсхилом-грузчиком, Софоклом-лесорубом.

* * *

Сколько бабочек-траурниц здесь, на дороге лесной!
Слишком скорбь велика, потому и летают так низко.
Среди желтой, лиловой услады цветной
Им никак не дойти до конца поминального списка.

Александра, Евгения, Федора сами прочтут
Имена, а затем им придется трудней: Афанасий,
Иннокентий... собьются, помочь бы им, пристальным, тут!
Ничего, у них вечность в запасе.

Пропустили кого-то... Попробуют снова прочесть.
Что ни встреча у нас, то предлог для такого помина.
Дело в том, что поэзия — лучшее, что у нас есть.
Черный бархат и яркие вспышки кармина.

Сколько раз эта радость последним спасеньем была
Человеку в изгнанье, слезах, одиночке...
Повернуться нельзя, чтоб со стула, окопа, стола
Не спугнуть два крыла, две друг к другу прижатые строчки.

Как мне нравится здесь!.. Придорожные ели, жара,
Путь до дома неблизок.
Сколько славных имен! Не мешай, это наша игра —
По местам их расставить... все время колеблется список.

Друг мой, был бы сейчас ты со мной,
О порядке поспорили б мы и легко помирились,
Во вниманье приняв громовые раскаты и зной,
Лишь бы черные бабочки в воздухе теплом толпились.

И кого-то из третьего ряда ввели б во второй,
А кого-то из первого — в третий,
Потому что, наверное, точности здесь никакой
Быть не может, и бабочки так непоседливы эти..

Мы очень признательны Джону Ле Карре, одному из самых известных сегодня англоязычных писателей, за то, что он прислал статью для нашего журнала. Его мысли о современном мире, в том числе о родной ему Великобритании, емки и остры. Нам показалось особенно интересным и важным дать высказаться незаурядному литератору, отношения которого с нами были всегда сложны, а затем продолжить разговор после получения ваших писем, ваших оценок высказанному. Ле Карре приехал в СССР по приглашению Чингиза Айтматова как член «Иссык-Кульского форума», он писал статью у нас в стране, возвращаясь в гостиничные номера после неутомимого хождения по улицам и учреждениям, после множества встреч с советскими людьми. Он приехал к нам, желая понять изменения, происходящие в нашем обществе, уяснить себе, что такое перестройка. Увиденное увлекло британца, и, по его же словам, Ле Карре вдруг почувствовал себя героем собственного романа, так что статья, которую он назвал «Письмо западного диверсанта», обрела особенный смысл. Сейчас готовится перевод романа Ле Карре «Маленькая барабанщица», сам он все активнее принимает участие в общественных мероприятиях, посвященных борьбе за мир и взаимопониманию культур и народов. Трудно вместе с тем согласиться со многими суждениями английского писателя. Ну, например, шоу с участием Оливера Норта и другими лицами, связанными со скандалом «Иран- контрас», на наш взгляд, мало чего общего имеет с гласностью. Но стоит ли прямо теперь затевать спор? Ведь нам интересно, что думает сам Ле Карре, искренне попытавшийся рассказать о себе, о своей работе. И, повторяем, ждем ваших писем, уважаемые читатели, в продолжение разговора. А еще одно «письмо» Ле Карре, уже впрямую комментирующее нашумевший роман, мы опубликуем вместе с «Маленькой барабанщицей». Сейчас известный переводчик Т. А. Кудрявцева готовит это произведение для нашего журнала.

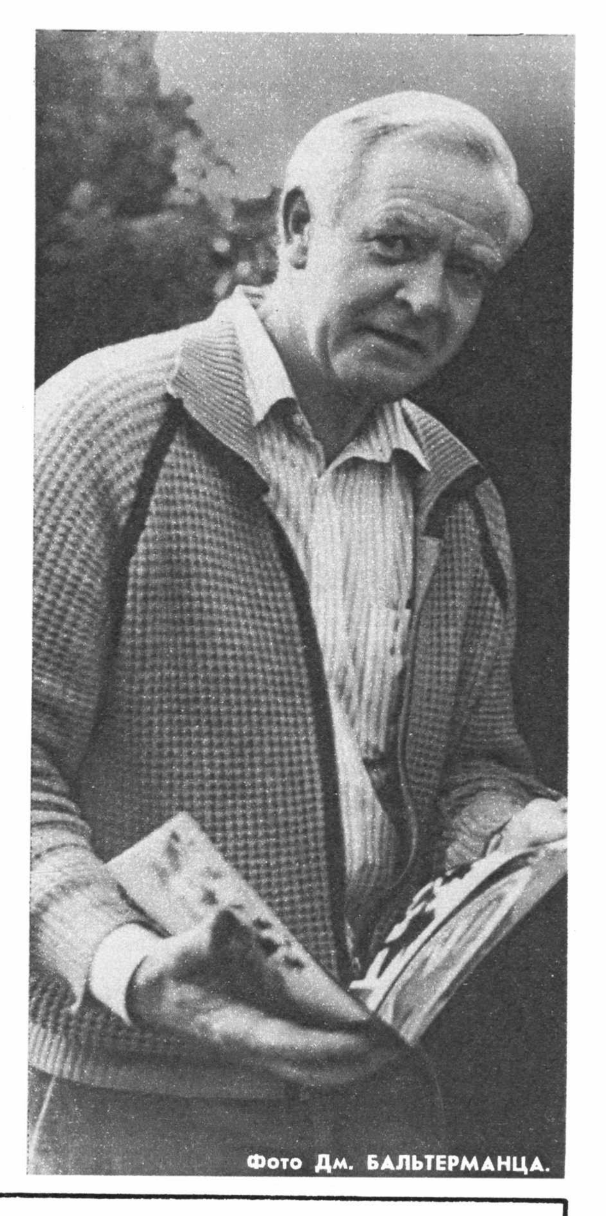


Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА.

ПИСЬМО ЗАПАДНОГО ДИВЕРСАНТА



«Расскажите нам о своем взгляде на закрытое общество,— предлагаете вы.— Расскажите нам, почему вы пишете о шпионах».

«Ясное дело,— ответили бы циники.— На этом можно заработать. Ле Карре нашел себе теплое местечко на рынке паранойи».

Другие люди, не такие добрые, доходят до того, что заявляют, будто я своего рода литературный торговец наркотиками. Это напоминает утверждение о том, что, если люди перестанут писать романы об убийствах, преступления сразу же прекратятся сами собой.

Думаю, следовало бы пояснить, что тема Ближнего Востока в романе «Маленькая барабанщица» стала отклонением в моем творчестве, ибо там не было ничего связанного с «секретной Англией», уголком моей страны, который, похоже, навсегда останется в стороне от «гласности» и с которым связана моя литературная репутация. Как Агата Кристи выбрала для себя английское поместье, Ч. П. Сноу избрал себе академические учреждения, а Кен Кейси остановился на своем гнезде кукушки, так и я избрал тайный мир шпионажа закрытой сценой моей социальной драмы.

Мой отец был бойким бизнесменом, не обремененным строгой моралью, в силу этого я мог бы остановиться на полукриминальных кругах вымогателей и мошенников, очень схожих меж собой во всех больших космополитичных городах мира. И действительно, в своем последнем романе «Прекрасный шпион» я немного побродил по этим мрачным, но весьма любопытным местам.

Я мог бы также избрать мир печального английского учителя частной школы, который бы пролил свет на надежды и разочарования маленького интеллигента-буржуа. Мне довелось преподавать в двух английских частных школах и пострадать в качестве ученика во многих других, поэтому я считал себя чем-то вроде эксперта по особым формам уродства, наносимого молодым нашей частной системой образования.

И если вы посмотрите на все мое творчество, то навряд ли найдете книгу, в которой бы не встретился наблюдательный недоверчивый ребенок, скептически смотрящий на кривляние тех, кто его старше и выше по положению. Ведь детство, как выразился Грэм Грин,— это сокровищница романиста.

Но судьба уготовила мне лучшую долю, и на несколько лет в очень важный период своего формирования я превратился в аппаратчика системы Уайтхолла и смог с очень близкого расстояния наблюдать хореографию той части британской власти, которая обычно остается за закрытыми дверями. Тогда я еще не стал писателем, а был одним из многих молодых людей в галстуках, с большими амбициями и не очень разборчивых в средствах достижения своих целей. Может быть, такие есть и в вашем обществе.

И в какой-то момент именно в эти годы, сейчас я уже не помню точно, когда и как, я пришел к выводу, который кажется мне правильным и сейчас. Это мысль о том, что чрезмерная секретность в правительстве — это яд, который все мы, и на Востоке, и на Западе, должны держать в самых минимальных количествах. И самая малая толика его может нанести очень большой вред очень большому делу. А чиновники, вовлеченные в тайную жизнь, не могут понять чаяний и потребностей народа, которому, как им кажется, они служат. Они легко могут уйти от подлинной ответственности, улизнув в спасительный мрак секретности. Им может не хватить кислорода, и, теряя рассудок, они могут выискивать безумные заговоры, обнаруживать несуществующих врагов, использовать средства, способные привести к катастрофе. И тогда безумие становится единственной сплачивающей их силой.

Я не очень хорошо знаю вашу страну и знаком лишь с ее литературой и историей и вот сейчас — еще и благодаря серии чрезвычайно занимательных бесед. И было бы невежливо с моей стороны советовать вам, как следует себя вести, так как я у вас в гостях. Но я мог бы поделиться с вами своим опытом, как я и поступил по отношению к своим читателям на Западе. Я могу лишь сказать, что, несмотря на огромную страсть к индивидуальной свободе, которой они в значительной степени могут наслаждаться, несмотря на свое естественное недоверие к политикам и чиновникам, они же на удивление терпимо относятся даже к явным нарушениям закона, когда вопрос касается необходимости открыть секреты учреждений.

Смею вас уверить, что нет ничего привлекательного или милого в любом обществе, избравшем в качестве мерила своей зрелости эффективность своих секретных служб. И я готов открыть вам самый страшный секрет прямо здесь, в России, где мне следует держать свои тайны при себе. И состоит он именно в том, что очень часто за секретностью скрывается некомпетентность, поднятая на уровень национальной необходимости.

Безусловно, вам приходилось слышать о трагикомических скандалах, разразившихся (в последнее и в не самое последнее время) в секретных службах Великобритании. И уж, конечно, вы от души посмеялись над беднягой президентом Рейганом и его приключениями в Иране и Никарагуа. Но между двумя этими скандалами есть существенная разница, над которой стоит поразмыслить. Американцы, несмотря на все свои, которые вы в них видите, недостатки, нашли в себе смелость подвергнуть своих нарушителей закона публичному допросу в прямой трансляции по национальному телевидению, чтобы выяснить, где были допущены нарушения и почему. И чтобы люди смогли сами все увидеть и сделать свои выводы. Что же касается наших британских скандалов, то нам пришлось выслушать выводы, не принимая участия в их выработке. Нас уверяли в абсолютном порядке происходящего, а также в том, что все вскрытые нарушения за закрытыми дверями — это ложь и более ничего предпринимать не нужно.

В результате нас поставили перед тем случаем, когда американцы были достаточно откровенны перед лицом мира. Если национальная американская гордость и пострадала в результате публичных слушаний, то репутация американцев в отношении способности к честному самоанализу лишь укрепилась. Мне хотелось бы сказать то же и о Великобритании. Но я не могу этого сделать.

Но вот после столь долгого пути и настала пора ответить на вопрос. Я пишу о тайном мире не только потому, что считается, что нам ничего не следует о нем знать. Я пишу о нем отчасти потому, что, если мы не будем бороться за контроль над ним, секретное правительство слишком легко погрузится на девять десятых под воду и станет недоступным внимательному изучению. Я пишу о темной стороне жизни, поскольку именно там собираются темные личности и поскольку именно там и происходят очень часто самые важные события.

Перевел Владимир СТАБНИКОВ.

ЧИТАТЕЛЬ—ЖУРНАЛ—ЧИТАТЕЛЬ

Работаю директором Донецкого детдома немногим более шести лет. Пишу в связи с публикацией А. Ланиной «Детский дом» в № 20 «Огонька». И то, о чем пойдет речь,— это выводы моего личного опыта, и поэтому я не претендую на их неоспоримость. Но все же...

Наш детский дом дошкольный: дети от трех до семи лет, потом их распределяют по другим школам-интернатам, детдомам. Чем объяснить, что у многих наших воспитанников не складываются судьбы? Почему нити, связывающие их с детдомом, настолько непрочные? Думаю, в первую очередь вот этим самым «расформированием» (слово-то какое!): не успел привыкнуть, а уже иди в другой коллектив, где ты чужой. Ломаются привычки, ломается характер... А если еще одно такое расформирование?

Планируя современные дома для детей, мы обязаны предусматривать, что детство и юность ребенка будут проходить в одном, только в одном детдоме. И еще. Наши ребята должны учиться в общеобразовательной школе. Обязательно. Там они познакомятся с жизнью, о которой сейчас имеют смутное представление. А иначе это все равно, что бросить не умеющего плавать в море и крикнуть: «Плыви, голубчик, счастливого пути!»

Вы видели семью в 25 человек? Группа в 25 малышей становится неуправляемой и способна выполнять только команды: «Встать!», «Возьмите ложки!», «Одеться! Гулять!». Нельзя экономить на штатных единицах, нельзя...

Ребята оканчивают среднюю школу, получая вместе с документами 50 рублей. Давайте подумаем мы, взрослые, что возможно сделать с 50 рублями? Протянуть еле-еле месяц. А оплата за проживание, пока не устроишься на работу, а если девочке захотелось купить новые туфли, долгожданные? Давно пресса ведет разговор о том, что школьники 8—10-х классов могут зарабатывать! Но столько бесконечных препятствий этому.

Да, проблем предостаточно. Пора, думаю, прекратить вздохи и слезы, трезво обсудив проблемы детдомов, в стенах которых идет жизнь, вроде бы нас не касающаяся.

А. ТРУШ

Донецк.



Семье Житниковых Северо-Кавказским филиалом Всесоюзного института механизации передан в личное пользование микроавтобус «Кубанец» на десять мест. Именно на столько, чтобы в нем удобно разместились все десять детей Лидии Тихоновны и Александра Григорьевича.

Старшей дочери, Нине, исполнилось двадцать лет. Андрей служит в армии. А вот младшему, Женечке, всего два года. В семье трое школьников. Так что микроавтобус очень кстати, ведь на семейном «Запорожце» пятерых ребятишек по детсадам и яслям сразу не развезешь.

Два года назад многодетной семье (глава семьи — механизатор ВИМа, а Лидия Тихоновна—литейщица керамических изделий комбината стройматериалов) выделили весь второй этаж в новом доме. Для этого пришлось переоборудовать две квартиры в одну. Сейчас у Житниковых семь комнат, две ванные, два туалета и две кухни. Кладовая же превращена в детскую комнату для игр.

И теперь вот «Кубанец». Солидная поддержка государства многодетной семье!

В. БОГАТОВ

Фото В. ЭМЕРИКА

Армавир.

Большое спасибо за рассказ В. Набокова «Круг» («Огонек» № 28). Он как чистый глоток родниковой воды. Какой язык!

К сожалению, однако, псевдонеобходимость «массовой культуры» слишком широко привита сегодня массовому читателю, и поэтому не все смогут сразу почувствовать поэзию Набокова. Да и те, кто включен в индустрию насаждения «массовой культуры», будут скрежетать зубами при каждой такой публикации.

С. КАРИН

Москва.

С 1936 года я рядовой школьный учитель истории, коммунист с 1939-го. Следовательно, я не мог быть в стороне от политической жизни страны. Скажу откровенно, мы тогда поддерживали репрессивную политику, верили, что имеем дело с истинными врагами народа. Мы безгранично верили Сталину и готовы были по его приказу в огонь и воду, с его именем шли в бой. Правильно ли это было? Думаю, что да. Это помогло нам выстоять против фашистского нашествия.

Но не знали мы и не допускали мысли, что репрессиям подвергались тысячи честных людей, хотя и догадывались, когда снимали портреты военачальников. Только теперь узнали всю правду. Можете представить, как нелегко было моему поколению переосмыслить свое отношение к Сталину, переломить себя, перейти от полного доверия к полному осуждению. Это тоже перестройка мышления, причем довольно нелегкая, если учесть, что историю партии мы изучали по Сталину.

И. СИТКО, учитель-пенсионер, участник Великой Отечественной войны

с. Роскошное Киевской обл.

Цель моей поездки в Москву была вполне определенная — американская выставка «Информатика в жизни США». Не спеша осмотрел все экспонаты и почти ничего, что могло заинтересовать меня как специалиста по проектированию средств вычислительной техники, не нашел. Но меня поразили размах применения персональных компьютеров и качество программного обеспечения, развитость и доступность сетей, все те достижения информатики в быту, науке и на производстве, о которых и рассказывает выставка.

Каково же было мое удивление, когда я одновременно в нескольких газетах прочитал обвинения в адрес организаторов выставки, касающиеся демонстрации устаревших конструкций. Простите, но мы, к сожалению, не имеем и такого «старья».

Вместо того, чтобы призывать к скорейшему внедрению компьютерных сетей в нашей стране, нас убеждают в их опасности. Очень странно. А не пытаемся ли мы отвлечь читателя от мысли: «А почему у нас этого нет?» — рассуждениями о политической подоплеке этой выставки и ее пропагандистской направленности?

В стране гласность завоевывает все новые сферы, но на освещение международной жизни она, похоже, еще не распространяется. При информации, представляющей Америку в основном как средоточие зла и насилия, трудно рассчитывать на улучшение наших взаимоотношений.

В. КАЛУЖНЫЙ, инженер по проектированию средств вычислительной техники

Новосибирск.

Обращаюсь к вам с болью в сердце и с взбудораженными мыслями в голове. Прочитал статью доктора исторических наук В. Поликарпова в № 26 «Огонька». Речь идет о гласности. Мне кажется, да и другие меня поддержат, такая гласность нам не на пользу. Она будоражит умы и сердца многих из нас, людей старшего поколения. Такие статьи не окажут воспитательного влияния на молодежь. Сразу возникает вопрос: где были другие члены ЦК партии, а съезды и Пленумы?

Всю статью Поликарпов посвятил Раскольникову, а предъявил обвинение Сталину. Все, что процитировано автором, взято из контрреволюционных газет, а они так злобно преподнесли материал в обвинение Сталину и всем тем, кто возглавлял ЦК в бытность Сталина. Все так и пахнет злопыхательством, а не объективностью.

Вы ведь знаете, что в период коллективизации большинство крестьян пострадало от репрессий. Но время стерло все, и во время войны только отдельные личности показали себя обиженными Советской властью, а остальные шли в бой за Родину, за Сталина. Да и когда умер Сталин, плакала вся страна. Так зачем же травить сердца — «о мертвых плохо не говорят».

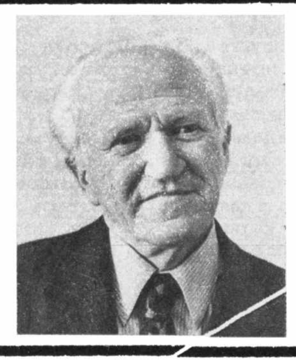
О гласности есть что писать — сколько хапуг, взяточников, подхалимов. Та гласность, о которой написано Поликарповым, дает пищу нашим врагам за рубежом. Разговоры уже идут нездоровые. В нашей перестройке и гласности должна быть мера.

Я. ГАМАЮН, член КПСС с 1929 года, персональный пенсионер

Москва.



СЛОВО О ТОВАРИЩЕ



После долгой, тяжелой болезни умер один из старейших огоньковцев, ветеран советской журналистики, коммунист Зигмунд Абрамович Хирен.

Ему было 17 лет, когда он начал сотрудничать в комсомольской прессе — в газетах, журналах Москвы и Ленинграда. В 1935 году он начал работать в «Красной звезде». И с тех пор до последнего дня войны нес боевую вахту военного корреспондента. Газета посылала его в самые горячие точки — на Хасан, Халхин-Гол, Карельский перешеек. Он был ее постоянным корреспондентом в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. А в пору Великой Отечественной войны майор Хирен слал в «Красную звезду», в Москву, свои корреспонденции почти со всех фронтов.

Он вернулся домой инвалидом войны. Но снова в руках З. А. Хирена острое журналистское перо. Более сорока лет он отдал журналу «Огонек». Его яркие очерки, репортажи, интервью полюбились читателям, зоркий глаз партийного журналиста выдвигал его на передний край борьбы за все светлое, новое, борьбы со всем тем, что мешало строить новую жизнь.

Зигмунда Хирена любили, уважали в нашем коллективе за принципиальность, трудолюбие, готовность сразу же отправиться на выполнение редакционного задания, каким бы трудным оно ни было.

Прощай, дорогой наш друг! Мы сохраним светлую память о тебе.

ОГОНЬКОВЦЫ

ЭДИТ ПИАФ: ПОСЛЕДНИЙ ВЗЛЕТ

Елена КАРАСЕВА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Недавно на наших экранах демонстрировался французский фильм «Эдит и Марсель». Из него мы многое узнали об Эдит Пиаф в 40-е годы, когда она была в расцвете творческих сил. Но очень бы хотелось, чтобы «Огонек» поподробнее рассказал о последних годах жизни и творчества певицы. Ведь наверняка живы ее друзья, ее современники, соратники, которые могли бы поделиться своими воспоминаниями...»

Е. КОРШУНОВА, инженер.
Свердловск.

Трагическая по своей сути певица. И жизнь ее — цепочка трагедий... Совсем юная, нищая и бездомная, она родила дочь. Носила ее с собой по дворам, когда пела под окнами. А в возрасте двух лет девочка заболела и умерла... Ее, уличную певицу Монмартра, случайно услышал профессиональный импресарио. Вывел на сцену, открыл публике. Но вскоре был убит при сведении каких-то счетов. И она, втянутая в скандал, оклеветанная молвой, снова оказалась на дне... Уже став знаменитой и прославленной, впервые встретила на своем пути человека, с которым казалось возможным настоящее счастье,— известного боксера Марселя Сердана. Но Марсель погиб в авиационной катастрофе. А потом и сама она попала в катастрофу — автомобильную. Тяжелейшие травмы, приступы адской боли, выбивающие из рабочей колеи. Мрачный, замкнутый круг, который она, человек по натуре оптимистический, обожающий шутки и веселье, пыталась разорвать, мужественно сопротивляясь ударам судьбы. Как сопротивлялась! Пела, конечно же. Пела все прекраснее, все глубже, потрясая слушателей и черпая в их овациях и слезах новые силы для борьбы со «злым роком». Борьба эта приняла особенно ожесточенный характер за три года до смерти...



Рядом с ней в ту пору находились композитор Шарль Дюмон, работавший над созданием ее нового репертуара (впоследствии он стал популярным исполнителем собственных песен), и журналист Жан Ноли, которому она тогда диктовала главы будущей книги мемуаров. Два очень разных человека. И две различные реакции на мою просьбу рассказать советским читателям о своих встречах с Пиаф. Шарль Дюмон, несколько лет назад гастролировавший в Советском Союзе, отнесся к ней как к чему-то само собой разумеющемуся: «Не раз имел возможность убедиться, как у вас ее боготворят, как чутко воспринимают ее творчество. Оно и понятно — Пиаф созвучна русской душе!» Жан Ноли, никогда у нас не бывавший и имеющий, как мне показалось, весьма приблизительное представление о наших людях, неподдельно изумился: «Неужели в России Пиаф настолько хорошо знают, что могут интересоваться фактами ее биографии!» Так или иначе, каждый из них подробно и откровенно поделился своими воспоминаниями. Получилось два отдельных, самостоятельных рассказа. Но когда я привела обе записи в порядок и сравнила, то увидела, что и хронологически, и событийно они пересекаются, дополняя друг друга. Мне показалось, что было бы правомерно объединить их, давая слово поочередно то одному, то другому моему собеседнику.

Париж — Москва.

ЖАН НОЛИ:

Вот уже год, как Пиаф почти не выступала. Редкие турне оканчивались печально: в разгар концерта голос срывался, взгляд становился блуждающим, ноги подкашивались. Срочно вызывали местного врача, который ставил неизменный диагноз: кома. Почти безжизненную, ее погружали в машину. И начиналась бешеная гонка в Париж, в ту клинику, где ей могли оказать эффективную помощь...

Ее дом, обычно кишевший людьми, опустел. За исключением последнего «бастиона» преданных друзей, сюда теперь почти никто не заходил. Потому что почти никто от нее ничего не ждал. Среди немногих, кто упрямо продолжал ждать и надеяться, был Бруно Кокатрикс — директор знаменитой «Олимпии», переживавшей финансовый кризис. Выход из кризиса он видел только в выступлениях Пиаф, которые гарантировали огромные сборы... В тот сентябрьский день 1960 года, когда я впервые был приглашен к певице домой, Кокатрикс по обыкновению там дежурил.

«Как самочувствие?»—участливо поинтересовался он, едва Эдит появилась в гостиной, где к тому времени собралась вся ее маленькая «свита»: импресарио Лулу Барье, дирижер Робер Шовиньи, композитор Маргерит Моно, поэт Мишель Ривгош. Она молча пожала плечами. Потом произнесла почти беззвучно, словно надеясь не быть услышанной: «Моя «Олимпия» не состоится. Прошу всех меня извинить». И чтобы избежать невыносимых расспросов, судорожно вцепилась обеими руками в чашку с чаем и поднесла ее к дрожащим губам... Окружающие перегляды-

вались с убитым видом. Маргерит Моно обняла ее за худые, жалко опущенные плечи и увела в спальню. Кокатрикс устало стряхнул сигарный пепел с лацканов пиджака и взялся за сердце, словно желая удостовериться, что оно еще бьется. Тяжелым шагом направился к выходу. За ним двинулись остальные. «Значит,— подумал я,— слухи, носившиеся по Парижу, не преувеличены. Певицы больше не существует...»

ШАРЛЬ ДЮМОН:

Представьте себе такую ситуацию. Живет в Париже молодой композитор — довольно уже известный (его песни поют Тино Росси и Глория Лассо), однако без гроша в кармане. А на нем семья, малые дети, которых надо кормить, купленная в кредит квартира, за которую надо расплачиваться и в которой, не считая рояля и телефона, шаром покати. Под настроение, в знак протеста против эдакой несправедливости у него неожиданно рождается бунтарская, революционная мелодия. Он звонит (благо телефон имеется) другу — талантливому и популярному поэту-песеннику — и просит написать к мелодии слова. Тот пишет и находит, что песня настолько удалась, что ее не стыдно предложить самой Пиаф. Композитор отчаянно протестует: он уже дважды предлагал ей свои сочинения, и она неизменно их отвергала, давая понять, что автор ей неугоден. А у автора есть самолюбие. К тому же всем известно, что певица обречена и петь уже не сможет... Друг соглашается, но поступает по-своему: уславливается о прослушивании.

Назначен день и час. И вот 5 октября мы с моим соавтором Мишелем Вокером звоним в дверь на первом этаже дома № 67 по бульвару Ланн, что стоит напротив Булонского леса. Нас проводят в огромный, пустынный салон, напоминающий вокзальный зал ожиданий. Посредине — черный «Плейель» в глубине — неуклюжий продавленный диван в ярко-голубой обивке, два кресла и низкий столик. А сбоку, в дверном проеме,— сама хозяйка. Простоволосая, в длинном халате — тоже голубом, но тусклого оттенка, в домашних шлепанцах. Очень бледная и очень слабая. Расстояние до рояля она преодолевает, наверное, минуты за три. Нарочито игнорируя меня, не стараясь скрыть раздражения, обращается к Мишелю: «Умоляю, сразу к делу. Видите, я не в форме».

Поспешно сажусь за инструмент. Играю и одновременно наговариваю текст: «Нет, ни о чем, не жалею ни о чем!..» Кончаю. Длинная, невыносимая пауза. Эдит впервые за все это время поднимает на меня глаза:

— Сыграйте, пожалуйста, снова.

Играю снова, обливаясь потом. И снова пауза. А вслед за ней адресованный лично мне недоверчивый вопрос:

— Это вы сами написали?.. Хорошо. По-настоящему хорошо... Не могли бы повторить еще раз?

Повторяю еще раз. И еще раз она напряженно слушает. И вдруг преображается. Фантастически преображается: глаза вспыхивают, к щекам приливает кровь. Ни следа усталости и опущенности. О том, чтобы нам побыстрее уйти, уже не может быть и речи. Нет-нет, мы должны остаться и показать нашу песню ее друзьям...

Был тот самый час, когда друзья являлись на традиционный «поклон». Всякий раз, когда в гостиную робко заглядывал очередной завсегдатай, Эдит нетерпеливо звала: «Скорее сюда, послушай-ка вот это». И я играл, играл, играл. А Пиаф в конце неизменно хлопала в ладоши и счастливо восклицала: «Правда, потрясающе?» Сама проводила нас с Мишелем до порога и на прощание серьезно сказала: «Не сомневайтесь, вашу песню я обязательно буду исполнять. И намного скорее, чем вы думаете, глядя сейчас на меня!» Она протянула мне руку. Это была рука ребенка.

ЖАН НОЛИ:

Спать Дюмону в ту ночь было не суждено. После его ухода воскресшая на наших глазах Эдит, у которой начался прилив энергии, созвала полон дом гостей. И, торжествуя, объявила: «Сегодня я нашла, что искала,— песню, которая меня спасет!» Все ее поздравляли (особенно горячо и искренне Бруно Кокатрикс: ведь речь шла и о его спасении). И все, разумеется, сгорали от любопытства: что же это за чудо-песня? Посыпались вопросы. И тогда Эдит тоном, не терпящим возражений, велела своему секретарю Клоду «срочно звонить Дюмону и звать его сюда».

Надо было знать характер певицы, становившейся тираном, когда дело касалось работы, чтобы понять такой поступок. Но надо было видеть и композитора... Ему, однако, не дали времени излить чувства. Потащили к роялю, усадили, выжидательно притихли. Он обвел заспанными глазами обращенные к нему лица, многие из которых нетрудно было узнать: Пьер Брассер, Мишель Симон, Пьер Карден... Потом взглянул, пересилив себя, на Пиаф. В ответ она улыбнулась молодой, обезоруживающей улыбкой:

— Бога ради, простите, Шарль. Но по вашей милости я, кажется, соглашусь снова выступать. И мне так не терпелось продемонстрировать директору «Олимпии» и всем остальным свою счастливую находку.

Ярость Дюмона улетучилась. Он взял первые аккорды, с настроением запел.

— Мой дорогой,— растроганно прошептал Кокатрикс, склонившись над ним.— Я вам этого вовек не забуду!

— А теперь — все на кухню! — скомандовала хозяйка.— Ужасно хочется есть!

ШАРЛЬ ДЮМОН:

Я стал свидетелем удивительного возрождения... 5 октября предо мной предстала разбитая, едва ли не парализованная женщина. Теперь она причесывалась у парикмахера, заказывала себе новые платья, прилежно делала лечебную гимнастику. Все было нацелено на одно: как можно быстрее вернуться в «Олимпию». Увы, первые пробы сил производили удручающее впечатление. Певица походила на спортсмена, у которого «спустили» мускулы. Мою песню она, правда, исполняла темпераментно, с нервом. Однако другие, старые вещи оставляли ее безучастной и потому не звучали... «У тебя не найдется чего-нибудь еще для меня?» — этот вопрос она теперь задавала едва ли не ежедневно. И я искал, то есть писал. Она смотрела: поправляла, критиковала, требовала. Она обожала участвовать в создании предназначенных ей произведений и делала это мастерски, профессионально... Короче говоря, когда составили окончательную программу для «Олимпии», обнаружилось, что из шестнадцати включенных в нее песен тринадцать моих. Среди них, кстати, были и те две, что в свое время она так категорически забраковала...

26 ноября у входа в «Олимпию» возбужденно кипела толпа безбилетников. Среди жаждавших прорваться на премьеру наряду с поклонниками были и такие, кто втайне рассчитывал на щекочущее нервы зрелище агонизирующей певицы. Пиаф знала это. И готовилась к премьерному концерту, как к решающему бою. Работала как зверь. Репетировала по три-четыре часа в сутки, в изнурительном для нее, еще не окрепшей, ритме. Все брала под контроль: освещение, рассадку оркестрантов, подачу занавеса. Отшлифовывала мельчайшие детали мизансцены: «Здесь я делаю шаг назад», «Здесь мне нужен испепеляюще-белый луч прожектора», «Если в этом месте они не заплачут, значит, у них каменные сердца»... Не без изумления обнаруживал я в ней профессиональный расчет, жесткость, непреклонность.

ЖАН НОЛИ:

Оркестр заиграл «Гимн любви» — традиционные позывные Пиаф. Она вышла из гримерной, поддерживаемая под руки Кокатриксом и Дюмоном, которые, казалось, несли ее, дабы избавить от лишних движений. Я успел заметить, что на ней старое концертное платье и старые, разношенные туфли вместо новых, накануне доставленных из ателье. Когда тяжелый красный занавес начал медленно раздвигаться, она отстранилась от своих провожатых, быстро перекрестилась и поцеловала нашейный крестик-талисман. Потом, обернувшись к Кокатриксу и Дюмону, с выражением смятения в глазах прошептала: «Ну что же, пошлите меня к черту». Те послушно послали. И она двинулась туда — к микрофону. Завидев ее, зал встал. Вместе с аплодисментами к ней покатилось ее имя — скандируемое, повторяемое несчетное число раз. Я следил за временем: шестнадцать минут длилась овация, не давая ей начать петь. Но вот голос ее наконец взял разбег и взлетел над сразу замершими рядами. Это был сильный голос. И публика после первой песни снова поднялась, теперь уже чтобы приветствовать эту возвратившуюся силу... С каждой новой песней аплодисменты делались все мощнее. Дюмоновская «Нет, не жалею ни о чем» вызвала настоящий шквал. Только после нее Пиаф сделала паузу — ушла за кулисы выпить несколько глотков воды. Скользнув по всем нам, столпившимся вокруг нее, оценивающим взглядом и поняв, что мы потрясены, она небрежно, как бы между прочим бросила: «Похоже, все идет неплохо!» И уже без посторонней помощи снова устремилась на сцену.

ШАРЛЬ ДЮМОН:

Некоторые зрители, точнее, зрительницы, от избытка эмоций потеряли сознание. Зато сама Эдит, по мере того как концерт двигался вперед, к триумфальному завершению, становилась все несокрушимее. Ее тщедушность, следы болезни на лице, ее колеблющаяся походка, отекшие ноги, редкие волосы уже никем не замечались. Видна была только артистка — великая, несравненная и потому красивая... То было торжество воли, труда и веры над обыденностью, над судьбой. Уникальный момент в истории французской песни. В жизни каждого, кто находился в тот памятный вечер в «Олимпии».

«Такого в моем театре еще не бывало»,— повторял, не стесняясь слез, Кокатрикс. Импресарио Лулу Барье ничего не говорил, но глаза его тоже были красны. Молчаливый, терпеливый Барье. Что бы без него делала Эдит? Привыкнув к баснословным гонорарам, она никогда не интересовалась тем, сколько денег на ее банковском счету. Но чеки раздавала направо-налево, словно рекламные проспекты. Не проходило дня без того, чтобы не явился какой-нибудь проситель и не поведал душераздирающую историю о больном ребенке, умирающей жене, предстоящей операции. Они знали, что Пиаф не откажет, и играли на ее доброте. Любой случайный «гость» мог спокойно вынести из ее квартиры что угодно: магнитофон или проигрыватель, дорогую книгу или вазу. Все раздаривалось, растрачивалось, растаскивалось. Меж тем ее собственные долги угрожающе росли по мере того, как терялось здоровье: за медицину приходилось дорого платить. Бедняга Лулу, на котором висели все эти финансовые проблемы, подобно фокуснику, затыкал одну дыру за другой. Однако на лице у него появился нервный тик. Победное возвращение Пиаф на сцену сулило ему по крайней мере передышку.

ЖАН НОЛИ:

Три первые недели гастролей в «Олимпии» прошли под знаком всеобщей эйфории. Но однажды предельно пунктуальная Эдит приехала на концерт впритык, едва не опоздав. Сквозь толпу, которая всегда ее тут поджидала и которой она обычно раздавала улыбки и шуточки, певица прошла молча, с понуро опущенной головой...

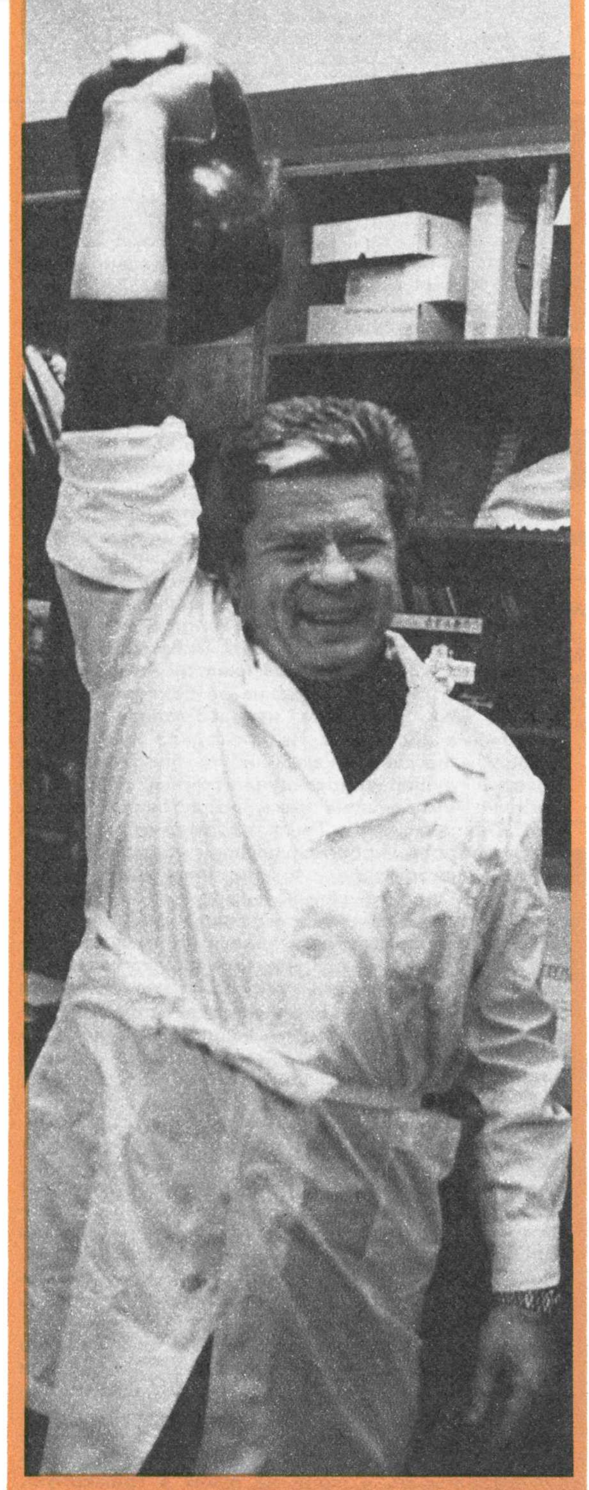
Она снова была нездорова. Если еще недавно она обожала резко оборвать аплодисменты и стремительно перейти к следующей песне, то теперь хваталась за них как за спасательный круг — переводила дух. Вернулись головокружения. После последнего поклона ее приходилось буквально подхватывать и нести на руках в гримерную. Пела она все равно замечательно.

ШАРЛЬ ДЮМОН:

Усилие, которого эти три месяца потребовали от Пиаф, было нечеловеческим. Благоразумные люди говорили, что так расточать себя недопустимо. Но разве благоразумие когда-либо уживалось с гениальностью? Разве горение (и часто быстрое сгорание) не удел гениев?.. Она была слишком гордой, чтобы сдаться. И вообще контакт со зрительным залом служил ей сильнейшим жизненным стимулом. Поэтому год спустя она вернулась в «Олимпию», хотя здоровье ей этого уже никак не позволяло. Поэтому, не внемля предостережениям, гастролировала по Франции и Бельгии. Потом еще парижский левобережный зал «Бобино», где публика была как никогда дружеской и нежной. Будто знала, что видит ее в последний раз...

В августе 1963 года я оказался проездом в Марселе. В порту зашел поужинать в ресторан и лоб в лоб столкнулся с Жаком Брелем. Тот сразу стал расспрашивать об Эдит. Узнав, что она совсем плоха, помрачнел, задумался. И вдруг предложил: «А что, если нам вместе написать для нее песню?» Я подхватил: «Это лучшее лекарство!» «Тогда приступим прямо сейчас!» Мы проработали до полуночи. Я не стал дожидаться завершения работы и наутро бросился звонить Пиаф. «Эдит, мы с Брелем готовим тебе сюрприз — новую песню!» Ее вначале слабый, апатичный голос сразу окреп: «Вот это молодцы! Давай приезжай сюда прямо сейчас! Вместе все доделаем!» Потом замолчала и, словно опомнившись, глухо проговорила: «Нет, пожалуй, повременим. Мне необходимо заняться своим видом. Но песню никому другому не отдавайте, обещаешь?»

Жить ей оставалось два месяца.



ОГОНЬКОВЦЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВЯТОСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА ФЕДОРОВА, ЧЛЕНА РЕДКОЛЛЕГИИ «ОГОНЬКА», С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ И ЖЕЛАЮТ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ В ПОДВИЖНИЧЕСКОМ ТРУДЕ НА БЛАГО СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ.

Когда материал готовился к печати, стало известно, что решением председателя Госбанка СССР В. В. Дементьева открыт счет ФОНДА ЗРЕНИЯ. ЕГО НОМЕР — 361705 В ТИМИРЯЗЕВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ГОСБАНКА, МОСКВА, БЕСКУДНИКОВСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 36. ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ФОНД ЗРЕНИЯ В ВАЛЮТЕ ОТКРЫТ СЧЕТ НОМЕР 36101532 В БАНКЕ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР, МОСКВА, КОПЬЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3/5.

Кто хочет увидеть реальное воплощение коренных перемен в управлении народным хозяйством, которые намечены партией на июньском Пленуме, тому следует побывать в межотраслевом научно-техническом комплексе «Микрохирургия глаза», в клинике известного врача-новатора Святослава Николаевича Федорова. Многое из того, что только планируется осуществить в ближайшие годы в масштабах страны, здесь, в клинике известного врача-новатора Святослава Николаевича Федорова, уже стало повседневностью. Правда, у многих это вызывает беспокойство. Не так давно в кабинете генерального директора комплекса раздался звонок из высокой инстанции: «Что это у вас с зарплатой происходит? Говорят, что ваши врачи получают больше министра».

Сергей ВЛАСОВ

27 С
НА ПРО

Да, именно так. А кто сказал, что это плохо? Каждому — по труду. Точнее, по реализованному труду. Хирург в клинике делает в год около четырехсот операций. За каждую из них МНТК получает от государства в среднем 214 рублей, значит, ежегодно хирург приносит в доход МНТК более 85 тысяч. Почему же ему не платить зарплату в пять-шесть тысяч в год? Это ведь лишь только семь процентов от заработанных им денег.

Недавно к С. Н. Федорову обратился врач, проработавший в клинике около двадцати лет, с такой просьбой: не может ли институт оплатить половину стоимости его кооперативной квартиры? Доктор весьма долго объяснял, как он устал ютиться в тесной, старой квартирке...

— Да о чем ты говоришь! — перебил его Святослав Николаевич.— Конечно, сможем внести половину стоимости. Что для нашего коллектива десять тысяч!

В самом деле пустяк, если только на ремонт здания за пять недель институт потратил четыре миллиона. Другой вопрос: как удалось за столь короткий срок оснастить операционный блок новыми автоматическими системами кондиционирования и вентиляции, поменять во многих помещениях устаревшие подвесные потолки, расширить приемное отделение на шестьсот квадратных метров, отделать мрамором предоперационные комнаты... Нереальные сроки для такой работы. Так в чем же секрет?

А нет никакого секрета. Просто здесь люди **ра-бо-та-ют.** Работают так, как за последние десять лет мы работать отвыкли. Не отбывают трудовую повинность, не отсиживают положенные часы, а гнут спину, вкалывают, везут воз, потея — извините! — и натирая мозоли.

Я говорил со многими сотрудниками института, которые пришли сюда недавно. Больше всего их поражают даже не высокие заработки и не уровень оснащения клиники самой фантастической техникой, а то, что здесь они наконец-то узнали, что значит работать по-настоящему и что значит быть истинными хозяевами.

В институте вместе зарабатывают, вместе и тратят. Недавно построили две базы отдыха, одну — под Новороссийском, на Черном море, где сейчас отдыхает шестьдесят человек, другую — в Троицком, под Москвой. Сейчас собираются возвести спортивный городок возле Ногинска, в бывшей усадьбе князей Барятинских. Институту ее отдали с тем условием, что он отреставрирует старинную церковь на территории усадьбы. Полмиллиона для этого понадобится, так что же, пожалуйста. А потом в церкви поставят орган, будут проводить концерты. Ученый из Дубны Тито Понтекорво вырастил пятнадцать коней и подарил их МНТК. Организована секция конного спорта.

— Красиво живут советские врачи! — сказал американский хирург, побывавший недавно в Институте микрохирургии.

Да ведь когда так работаешь, то и жить красиво хочется!

Несколько дней назад здесь подписали контракт с одной американской фирмой на сумму свыше миллиона долларов — американцы купили лицензию на новый способ заживления операционных ран глаза, а также на алмазные ножи. Значительная прибавка к банковскому счету института! А что за это получают те, что были авторами изобретения? Премию, и не копеечную, а более пяти тысяч рублей на несколько человек. Как уж они эти деньги поделят — их личное дело.

На днях на совете трудового коллектива решали вопрос о выделении премии в 15 тысяч рублей группе ученых (около двадцати человек), создавших новую модель силиконового хрусталика. Постановили: дать премию. Хотя шестеро из этой группы сотрудники совсем другого учреждения — Института элементоорганических соединений.

Премию в шесть тысяч рублей дали международному отделу комплекса, учитывая, что в последние месяцы было прооперировано очень много зарубежных пациентов (что принесло МНТК 300 тысяч инвалютных рублей).

Откуда берутся премиальные? Из фонда материального поощрения, который накоплен коллективом за счет разумной экономии и перевыполнения плана. С. Н. Федоров не устает повторять своим экономистам:

— Настоящего хозяина мы сумеем воспитать, если человек будет знать, что его труд оплачивается справедливо и эта справедливость неотвратима. Каждый должен знать свою долю участия в доходах предприятия, величину своего «куска от общего пирога». И тогда каждый будет стремиться, чтобы общий пирог был большим и вкусным. Если бригада знает, что ее вклад в общую прибыль, скажем, пять процентов, то ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ее зарплата была меньше чем пять процентов от общей зарплаты всего коллектива. Ведь наша революция и была задумана ради этого — ради справедливого распределения. Но потом мы почему-то от этого принципа отступили... Странное дело: когда человек ворует у другого или у государства, его сажают в тюрьму,— а почему же не наказываем тех, кто обкрадывает трудящихся, недоплачивая им за труд?

Еще совсем недавно, год-два назад, в клинике можно было оказаться свидетелем мелких инцидентов, когда санитарка, гардеробщица, нянечка или лифтерша не очень приветливо встречали людей, которые шли бесконечной чередой. Сегодня вы такого не увидите, хотя число пациентов стало вдвое больше. Работники Института микрохирургии независимо от того, имеют ли прямое отношение к операциям или нет, знают: чем больше будет проведено операций, тем больше получит каждый, в том числе и санитарки, и гардеробщицы, и нянечки, и лифтеры.

Выходит дело, хозрасчет — это не только жесткая зависимость зарплаты от количества и качества сделанной работы, но и прекрасный способ воспитания в человеке вежливости...

Со времени нашей последней публикации о делах профессора С. Н. Федорова прошло около года. С тех пор редакция получила много писем с просьбой рассказать о строительстве филиалов МНТК. В трех из них — в Краснодаре, Ленинграде и Чебоксарах — стройка идет к завершению. Все они откроются одновременно, в один день в конце октября. Это будет прекрасный подарок нашим людям к 70-летию Октября. Через неделю после торжественного перерезания ленточек начнутся операции. В Ленинграде уже записалось около девяти тысяч желающих исправить свое зрение, так что на полгода работой микрохирурги обеспечены.

В Чебоксарах, в республиканской глазной больнице, которая стала филиалом МНТК, где по решению правительства Чувашии внедрен аналогичный полный государственный хозрасчет, теперь делают операций почти в три раза больше — не 350 в месяц, как было раньше, а тысячу. И зарабатывают медики по два с лишним прежних оклада. При этом вдвое уменьшилось число осложнений в послеоперационном периоде.

— Вот многие иногда повторяют, что я уникальный человек, умелый организатор, и только потому, мол, все у нас в институте получается,— говорит Святослав Николаевич.— Все это вранье! Я самый обычный человек, просто я раньше иных понял, что нельзя сделать предприятие жизнеспособным, если не учитывать личные интересы людей, не создавать общее благо сообща, дружно. Только включение интересов человека в хозяйственный механизм дает этому механизму небывалое ускорение. Опыт глазной клиники в Чебоксарах — лишнее тому подтверждение. Без каких-либо технических изменений, используя лишь материальную заинтересованность, здесь достигли трехкратного увеличения производительности труда. Когда же будет дополнительно внедрено новейшее оборудование, я уверен, производительность возрастет впятеро против того, что было раньше. Очень много делают для развития офтальмологии в республике обком партии и Совет Министров Чувашии, за что им огромное спасибо.

Те, кто знаком с биографией Федорова, понимают, что Чебоксары для него не обычный город: здесь он сделал свою первую операцию по вживлению искусственного хрусталика, после чего много у него было неприятностей, и в конце концов выжили его из Чебоксар. Четверть века прошло, и кто старое помянет... Святослав Николаевич не злопамятен, именно в Чебоксарах он предложил поставить первый и единственный по-

ка в мире круговой глазной конвейер — «Ромашку».

Еще в 1981 году он нарисовал его эскиз, который вскоре опубликовал западногерманский журнал «Штерн» с подписью «О чем мечтает советский профессор». А через пару недель к нему обратились специалисты фирмы «Сименс» с предложением изготовить такой конвейер. Полтора года спустя первая в мире автоматизированная линия прозрения приняла пациентов. Но только сделать ее круговой, как сначала хотел профессор Федоров, не удалось: оперблок московской клиники оказался тесным, и конвейер пришлось вытянуть в ленту. Зато здесь, в Чебоксарах, места вполне хватило: использовали для конвейера конференц-зал, который переоборудовали в оперблок.

«Ромашка» изготовлена на Чебоксарском агрегатном заводе и, по мнению хирургов, работает лучше, чем немецкий конвейер, более плавно, более надежно, не говоря уже о том, что стоит вчетверо меньше. Все двенадцать филиалов МНТК будут оснащены конвейерами, изготовленными на Чебоксарском агрегатном заводе, и заранее хочется поклониться от имени тысяч и тысяч больных рабочим и конструкторам завода во

ЕКУНД-ЗРЕНИЕ

главе с их директором Хисиным. А ведь сколько сомнений, опасений было высказано в свое время, когда западногерманские фирмы заломили непомерно высокую цену, оказавшуюся не по карману нашему здравоохранению. Выходит, умеем, если захотим. Чему тут, впрочем, удивляться! Разве Левша из заморских стран был родом? Только мы почему-то на долгое время об этом забыли. Пришла пора вспоминать.

В Волгограде, Калуге, Свердловске и Хабаровске, где должны быть еще четыре филиала, идет сооружение нулевых циклов или начат монтаж первых этажей. В сентябре следующего года все четыре комплекса должны принять новых пациентов.

А что в Москве? Здесь тоже строится модуль-операционная — точная копия других двенадцати. Тут в первую очередь будут испытываться все новинки хирургической техники и после апробации тиражироваться в остальные филиалы. Рядом заканчивается возведение институтского завода. К марту будущего года оба объекта откроют двери. Скоро неподалеку от главного здания института начнется строительство лабораторного корпуса. Наконец-то офтальмологическая наука в институте перестанет ютиться в малоприспособленных комнатках. В новом девятиэтажном корпусе разместятся в том числе и мощный лазерный отдел, и экспериментальный отдел по созданию генераторов пи-мезонов и других видов энергии, с помощью которых при воздействии на ткани глаза получают различные оптические эффекты: исправляют близорукость и дальнозоркость, меняют свойства роговицы, а в скором будущем, уверяет профессор С. Н. Федоров, станет возможным омоложение сетчатки.

Через три года, когда заработают все двенадцать филиалов, в МНТК будет тратиться на науку десять миллионов рублей ежегодно. Комплексу понадобятся ученые экстра-класса — физики, химики, электронщики. И не один, не пять, а много. Где их взять, если сегодня быстрые разумом Ньютоны стали одним из самых дефицитных дефицитов?

— Наберем со всего Союза,— без тени сомнения отвечает Святослав Николаевич.— Сами прибегут, когда узнают, что дело интересное и мы платим больше, чем в самых престижных отраслях промышленности. А почему же нам так не платить? Знаете, во всех развитых странах медицина приравнена по своему стратегическому значению к обороне. Во всем мире в медпромышленности сидят лучшие умы, а у нас?.. Пожалуй, я не стану продолжать, а то меня обвинят в космополитизме. Хотя факты — вещь упрямая: две трети необходимых нам приборов мы вынуждены покупать на валюту. Даже такие мелочи, как салфетки для стерильности глаза во время операции, покупаем в Финляндии, у нас для этой цели предусмотрена лишь... простыня с дыркой. А потом еще удивляемся, почему так много осложнений. Если бы мы у себя в институте оперировали только отечественным оборудованием, то мы просто калечили бы людей. Да и не было бы Института микрохирургии вообще. И МНТК не было бы. Вот что значит техническое оснащение для современной медицины. Когда у нас будет двенадцать филиалов, нам понадобится как минимум пять миллионов долларов ежегодно на импортное оборудование. А почему мы должны зависеть от импорта? Наши военные не летают ведь на импортных самолетах, не стреляют иностранными патронами. Я вижу только одно решение этого вопроса: всем министерствам, особенно оборонной промышленности, поручить выпуск медицинских приборов в качестве планового задания на уровне их основной продукции и ввести обязательную госприемку с участием заинтересованных медиков. Заказы Минздрава СССР на медицинскую технику должны быть абсолютно приоритетными. Принцип остаточного планирования медтехники, который существует в настоящее время, должен быть осужден и навсегда оставлен...

Есть у С. Н. Федорова еще одно предложение, которое может помочь нашей офтальмологии,— создать **Фонд зрения.** К Святославу Николаевичу обращаются многие люди, желающие отдать свои средства на развитие института и его филиалов. Что же, неудивительно, наши люди всегда отличались состраданием, милосердием. Хотя, казалось бы, есть у института свой счет в банке, куда каждый желающий может внести сколько он хочет, но... первая ревизия установит тут нарушение. Нарушение, позвольте, чего? Инструкции. Ее величества Инструкции.

По-прежнему основным принципом С. Н. Федорова и его сподвижников остается максимальная помощь максимальному числу людей. Ради этого они и стараются. Ради этого создан МНТК. Ради этого появился в свое время автобус-операционная, полстраны объехали на нем врачи, побывали в пяти городах Индии, делали новые операции, обучали им местных офтальмологов. Теперь С. Н. Федоров «пробивает» самолет-операционную. Уже есть макет аэробуса «Ил-86» с оперблоком, поликлиникой, конференц-залом. Конструкторы ильюшинского КБ уверяют, что, как только дадут команду, они за полгода оборудуют такую летающую глазную клинику и институт усовершенствования врачей.

С этой идеей Святослав Николаевич носится с 1971 года. Еще тогда он писал письма в разные инстанции, рассказывал о своей мечте журналистам. Десять лет спустя такой самолет построили... американцы, кстати сказать, в основном на средства меценатов, создали интернациональную программу «ОРБИС» и теперь летают по всему свету, делают операции, рекламируют свои достижения. Это уже не только медицина, это уже политика.

В конце августа самолет программы «ОРБИС» прилетает к нам в страну. Восемь лучших глазных хирургов мира из Японии, ФРГ, Англии, Бельгии и США продемонстрируют советским врачам-офтальмологам свои последние успехи в лечении катаракты, глаукомы, близорукости... Их прилет в СССР — дань уважения нашим офтальмологам и не в последнюю очередь С. Н. Федорову, авторитет которого в мире необычайно высок.

Однако именно всемирное признание достижений клиники С. Н. Федорова и не нравится некоторым нашим соотечественникам. Две недели назад куда следует поступила анонимка: Федоров, мол, делает операции, которые ослепляют людей. В качестве аргумента приводится высказывание американского врача Уорринга: операция по устранению близорукости непредсказуема, поэтому ее проводить не рекомендуем. В анонимке почему-то не говорят, что цитируют выступление пятилетней давности и что за это время американские врачи, делавшие такие операции, подали на Уорринга в суд, и он должен был выплатить 250 тысяч долларов за те убытки, которые понесли хирурги,— ведь после его выступления многие пациенты отказались от операции.

Анонимка эта — увы! — далеко не единственная...

Вспоминаю, как репортер телевидения ФРГ спросил С. Н. Федорова: «Скажите, вы, наверное, миллионер, если делаете столько операций?» «Нет,— засмеялся Святослав Николаевич.— Но мои американские коллеги, которые переняли наши методики, стали миллионерами. Правда, они не умеют, по-моему, тратить деньги, они их только копят, но не наслаждаются ими. Я им говорю: ребята, чего ж вы ждете, когда вас положат в гроб с вашими миллионами! Давайте купим на них новое медицинское оборудование, построим новые клиники и станем еще счастливее, потому что каждый день будем видеть еще больше счастливых лиц наших прозревших пациентов. Вот почему я так люблю свою работу: уже на другой день после операции я могу видеть благодарную улыбку человека. Это важнее для меня, чем миллион».

Репортеру так понравился ответ, что он захлопал в ладоши...

Как удар ножом в спину было для С. Н. Федорова известие о том, что в институте изобличены две сотрудницы, которые помогали профессиональному мошеннику обирать стремящихся попасть на операцию. Доверчивые люди были обмануты преступником, поверив ему, что иначе попасть на лечение невозможно. Хотя очередь на срочные операции не превышает 1—2 недель, а на плановые операции — 6—12 месяцев. Пуск филиалов значительно сократит эти сроки, и поэтому профессор Федоров просит всех больных не верить никому, что попасть в институт или его филиалы трудно. Необходимо только иметь заключение своего лечащего врача и паспорт. Через два года в МНТК будет производиться 1400—1500 операций в день, то есть каждые 27 секунд (!) из операционных будут выходить прозревшие люди.

МНТК «Микрохирургия глаза» со своими двенадцатью филиалами для того и создается, чтобы офтальмология стала у нас, как говорят экономисты, бездефицитной. То есть чтобы любой из нас в любое удобное для него время мог прийти в клинику, где его ждут с распростертыми объятиями врачи, вооруженные новейшей техникой. Уже сейчас С. Н. Федоров ставит вопрос о том, чтобы офтальмологи в районных поликлиниках, направляющие в МНТК больных, получали от комплекса не менее пяти рублей за каждое своевременное направление больного на лечение.

Впрочем, что это мы все о деньгах. Как говорится, не в них счастье. А в чем оно, счастье?.. Здесь, в институте С. Н. Федорова, догадаться об этом нетрудно. Однажды я был свидетелем того, как Святослав Николаевич принимал на работу молодого врача. Тот, отвечая на вопросы директора, все время порывался встать и говорить стоя. Профессор раз его усаживал, а после очередного «Да вы сидите, сидите» наставительно сказал:

— Отвыкайте, молодой человек, от чинопочитания. У нас здесь царит интеллектопочитание. Добейтесь, чтобы перед вами профессора снимали шляпы, здесь для этого есть все возможности. И почаще проявляйте инициативу. Дерзайте, а мы поможем!

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В Москве в 3-м Самотечном переулке тушили загоревшийся ведомственный гараж. Пожарные развернули стволы, обесточили горящее строение — все по давно отработанной схеме. Торопились: здание примыкало к многоэтажным жилым домам. Снаружи пламя сбили через несколько минут.

— В гараже, возможно, остались люди. Люди в гараже. В гараже — люди,— пробежало по цепочке.

И пожарные вошли внутрь. Пригибаясь к земле, так в дыму лучше видно, заливая оставшиеся очаги, пробирались ощупью. В дальнем углу смельчаков ожидала смерть — там стояли баллоны с кислородом и ацетиленом. Никто о баллонах не знал, их там и не должно было быть.

Взрывом приподняло и обрушило перекрытие кровли. Стоявших ближе к воротам волной выбросило на мостовую. Полетели сорванные с ремешков каски, посыпались стекла в соседних домах, по стенам зазмеились трещины, фундаменты дали просадку.

Погибли прапорщик Абдулбяр Сибгатулин и рядовой Иван Гвоздовский. Еще шесть человек в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

— «Слепой» случай при исполнении служебных обязанностей,— так прокомментировали происшествие в городском управлении пожарной охраны.

На следующий же день площадку, где стоял этот злополучный гараж, поспешили очистить и засыпать желтым песком, копоть со стен окружающих домов стерли, фасады подкрасили. В план районного архитектора внесли изменение: гаража нет.

Но дальше произошло непредсказуемое — жители микрорайона стали приносить сюда свежие цветы, позже появились и фотографии погибших.

— Цветы и фотографии стоят на том месте, где нашли Абдулбяра,— сказали мне.— Если бы не его самоотверженность, баллоны начали бы рваться один за другим и могли наделать много бед...

Работники милиции «во избежание нездорового ажиотажа» фотографии изъяли, а пожарным ездить через 3-й Самотечный не велели («Проезжая, сигналят, нарушают покой граждан»).

Но жители микрорайона стали писать в инстанции с требованием увековечить память погибших.

— Всем только до себя, соседей по дому не знаем,— сказала одна из жительниц микрорайона.— Все, что за порогом квартиры, нас почти не касается, редко тревожит... На глазах у микрорайона парни шли в огонь... Не должно это забыться...

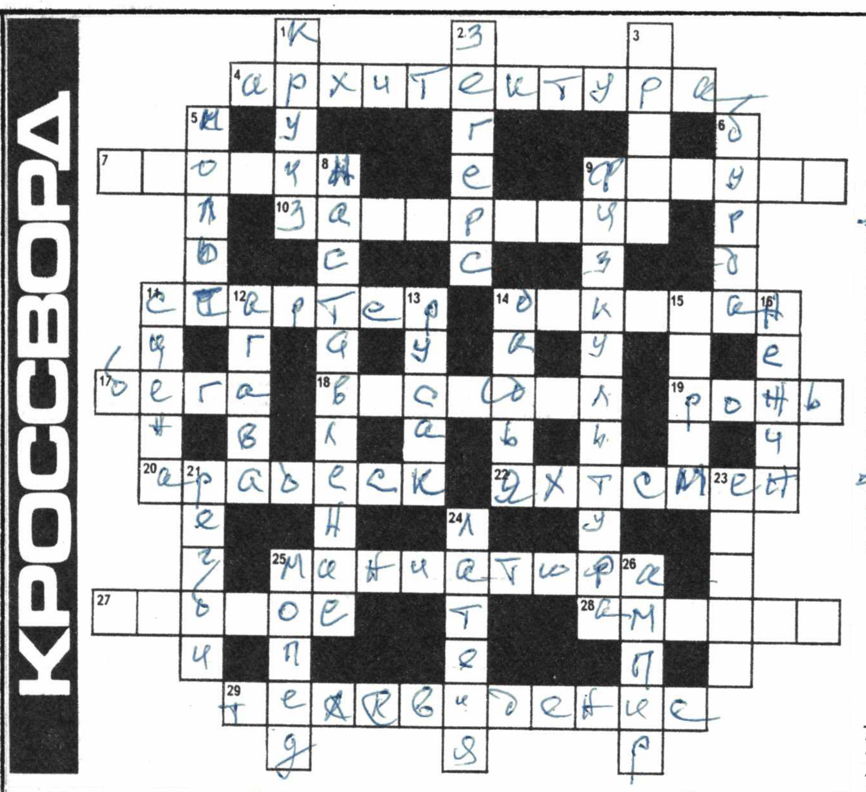
«Не надо грандиозных монументов, не надо мраморных досок. Пусть будет скверик, небольшой обелиск или каска в стенной нише,— просят жители.— Мы готовы поработать на устройстве сквера. И наши дети работали бы с нами, и школьники из ближайших школ».

Председатель Свердловского райисполкома столицы Е. Ф. Мартынов встречался с жителями микрорайона, где произошел пожар, после чего сообщил редакции, что инициатива поддержана, что сквер на месте гаража будет разбит.

...Люди счастливо не стали жертвами трагедии, развернувшейся у них на глазах. Беда прошла стороной, но объединила и перезнакомила между собой соседей, раньше не замечавших друг друга, всколыхнула их, вызвала чувства, начавшие покрываться пылью казенности.

Александр МИХАЙЛОВСКИЙ

КРОССВОРД



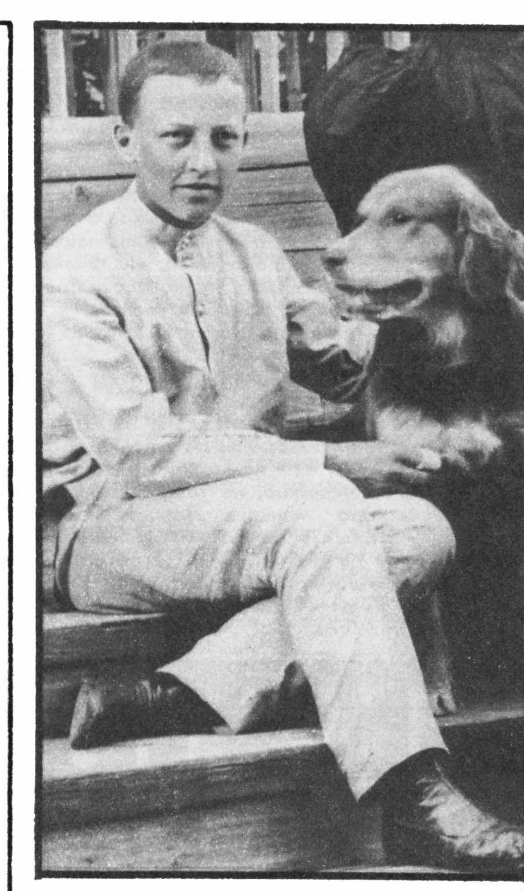
По вертикали: 1. Морское путешествие. 2. Немецкая писательница, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». 3. Химический элемент, металл. 5. Спортивный снаряд для метания. 6. Советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка. 8. Указание, руководство, инструкция. 9. Совершенствование и укрепление человеческого организма. 11. Специальная площадка для представлений. 12. Декоративное растение, цветущее раз в жизни. 13. Заяц. 14. Черпаковый подъемник. 15. Верхний жилой ярус хором в Древней Руси. 16. Город в Черниговской области. 21. Спортивная командная игра с мячом. 23. Рассказ А. П. Чехова. 24. Союзная советская республика. 25. Велосипед с мотором. 26. Стиль в архитектуре и декоративном искусстве.

По горизонтали: 4. Строительное искусство, зодчество. 7. Новатор в строительстве, бригадир, Герой Социалистического Труда. 9. Действующее лицо оперы Д. Россини «Севильский цирюльник». 10. Народный архитектор СССР. 11. Устройство для пуска двигателя внутреннего сгорания. 14. Ученый, автор проекта Останкинской телевизионной башни. 17. Гонки, вид конных состязаний. 18. Повесть А. С. Пушкина. 19. Картина И. И. Шишкина. 20. Поза классического танца в балете. 22. Спортсмен, занимающийся одним из видов водного спорта. 25. Художественное произведение малых размеров. 27. Город в Рязанской области. 28. Один из бакинских комиссаров. 29. Передача изображений на расстояние.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 31

По горизонтали: 2. Проводник. 7. Пирс. 8. Купе. 9. Рельс. 12. Севан. 13. Тацит. 15. Анива. 18. Адажио. 19. Ремарк. 20. Статика. 21. Арахис. 23. Фаэтон. 25. «Обрыв». 27. Ларга. 30. Шипка. 31. Нулин. 32. Тушь. 33. Киев. 34. Караваджо.

По вертикали: 1. Чапаевка. 2. Перрон. 3. Варела. 4. «Деньги». 5. Клумба. 6. Трембита. 10. Эскалатор. 11. Баскунчак. 14. Центавр. 16. Шоссе. 17. Графа. 22. Аэростат. 24. Тепловоз. 26. Вершок. 28. Алупка. 29. Глинка. 30. Шапито.



А. Блок в Шахматове.
Фото 1894 года.

По многочисленным просьбам читателей публикуем состав литературного приложения к журналу «Огонек» на 1988 год

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА В 10 ТОМАХ

Том 1. Губернские очерки
Том 2. Помпадуры и помпадурши
История одного города
Том 3. Господа ташкентцы
Господа Молчалины
Том 4. Из «Сборника»
(Похороны; Старческое горе; Дворянская хандра; Больное место)
Том 5. Благонамеренные речи
Том 6. Господа Головлевы
Убежище Монрепо
Том 7. За рубежом
Письма к тетеньке
Том 8. Современная идиллия
Сказки
Том 9. Мелочи жизни
Из «Пошехонских рассказов»
(Пошехонские реформаторы; Пошехонское «дело»; Фантастическое отрезвление)
Том 10. Пошехонская старина

●

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВИКТОРА ГЮГО В 6 ТОМАХ

Том 1. Последний день приговоренного к смерти
Собор Парижской Богоматери
Тома 2, 3, 4. Отверженные
Том 5. Человек, который смеется
Том 6. Девяносто третий год
Стихотворения

●

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Б. ГОРБАТОВА В 4 ТОМАХ

Том 1. Мое поколение
Очерки, корреспонденции
Том 2. Алексей Гайдаш
Обыкновенная Арктика
Рассказы
Том 3. Произведения военных лет
(Письмо к товарищу; Рассказы о солдатской душе; Непокоренные; В семье Тараса; Юность отцов и др.)
Очерки, корреспонденции
Том 4. Донбасс
Перед войной

●

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И. А. БУНИНА В 4 ТОМАХ

Том 1. Стихотворения
Рассказы (1892—1909)
Том 2. Тень Птицы
Повести и рассказы (1909—1916)
Том 3. Повести и рассказы (1917—1930)
Жизнь Арсеньева
Том 4. Темные аллеи
Рассказы (1931—1952)
Переводы

В собраниях сочинений будут иллюстрации художников М. Башилова, О. Вуколова, Кукрыниксов, Г. Новожилова, П. Пинкисевича и др.

Редакция журнала «Огонек» и издательство «Правда» подписку не производят.



Дом стоял на поросшем лесом холме, и из его окон открывались чарующие просторы, холмистые дали, поля и перелески, которыми так славится северо-западное Подмосковье. «Вид широкий, вольный и задумчивый. Русь настоящая»,— любили говорить в семье Бекетовых, где рос и мужал великий русский поэт Александр Блок.

Шахматово. Усадьба поэта. Оно вошло в стихи Блока, здесь работал он над поэмой «Возмездие», пьесами, статьями. Стенами рабочего кабинета Блока называл это место проницательный Андрей Белый. «Здесь, в окрестностях Шахматова,— писал он,— что-то есть от поэзии Блока, встали горбины, зубчатые лесом, напружинились почвы и врезались зори».

Благоуханная глушь Шахматова пробудила в Блоке то пронзительное чувство Родины, земли, страны, которое поражает в его стихах:

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь.

...Вот уже многие десятилетия идут и едут сюда тысячи людей. Шахматово среди литературных мест нашей страны известно сейчас наравне с Михайловским, Ясной Поляной, Карабихой... Известно и почитаемо, несмотря на то, что самой усадьбы уже давно нет. О необходимости ее восстановления написаны тома. Но, и несмотря на выступления общественности, самые высокие решения и постановления, Шахматова все нет как нет. А ведь именно в 1987 году по постановлению Совета Министров РСФСР здесь должен был быть создан Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А. А. Блока.

Но лишь раскопки фундаментов дома и усадебных построек встрети-

БЛАГОУХАННАЯ ГЛУШЬ...

Блоковский тополь.
«Огромный тополь серебристый склонял над домом свой шатер».

Церковь в Тараканове скоро окончательно разрушится.

ли собравшихся в Шахматове в начале августа любителей поэзии. В ужасном состоянии находится и церковь, памятник архитектуры XVIII века в селе Тараканово, где венчались Блок и Л. Д. Менделеева,— а ведь это также один из музейных объектов. Прошло уже шесть лет со дня принятия правительственного решения о создании блоковского заповедника, а дело почти не сдвинулось с мертвой точки.

Один за другим сменяются руководители культуры Московской области, уходят и приходят директора существующего на бумаге Шахматова, пишутся отчеты, проводятся совещания, раз в год гремят праздники поэзии, нет одного — музея Блока в Подмосковье.

Есть лишь место, где стоял дом поэта...

Вл. ВЕЛЬЯШЕВ

Фото Сергея ПЕТРУХИНА



Рисунок Олега ТЕСЛЕРА

А ЧТО Я ВАМ ПРИНЕС?

«ОГОНЁК»!

«ОГОНЁК»!

«ОГОНЁК»!

«ОГОНЁК»!

«ОГОНЁК»!

«ОГОНЁК»!

КАК МНЕ ЭТО НАДОЕЛО!

ПОЧТА·ТЕЛЕГРА

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДПИСКИ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР!

«ОГОНЕК» — В КАЖДЫЙ ДОМ
И — СЕЙЧАС,
А НЕ ПОТОМ!

ISSN 0131—0097
Цена номера 40 коп.
Индекс 70663

